



ДЕТИ
ВОЙНЫ

Павел ГУШИНЕЦ

ВОЙНА ДЕВОЧКИ САШИ



Дети войны

Павел Гушинец

Война девочки Саши

«Четыре четверти»

2022

Гушинец П. В.

Война девочки Саши / П. В. Гушинец — «Четыре четверти»,
2022 — (Дети войны)

ISBN 978-985-581-381-2

В этой книге нет героев, увенчанных славой и медалями победителей. Перед людьми, чьи судьбы здесь описаны, стояла важная и непростая задача выжить. Выжить в лагере, выжить в плену, выжить в оккупации. «Война девочки Саши» – это сборник рассказов, основанных на повествованиях очевидцев тех событий. В 1941–1945-х годах им было 4, 5, 12, 16 лет. Кто-то провёл годы войны на оккупированной территории или был угнан в Германию, став практически рабом, а кто-то голодал и мёрз в осаждённых городах. Все они уже делились когда-то своими историями с детьми, внуками, корреспондентами районных газет. Но ведь газета выйдет, пролежит неделю и исчезнет в мусоре. Немного дольше истории проживут в памяти детей... Эта книга написана, чтобы сохранить их ценные воспоминания на десятилетия и чтобы ни у кого не возникло соблазна «повторить».

ISBN 978-985-581-381-2

© Гушинец П. В., 2022
© Четыре четверти, 2022

Содержание

От автора	6
Война девочки Саши	7
Первые воспоминания	8
Шоколадка	9
Эшелон	11
Бируков	13
Дети войны (Венгр)	15
После войны	18
Жёлтые сосульки	19
Папа	30
Мы пойдём до Берлина!	33
Миша Францев	36
Воспоминания бабушек Богданы Потехиной	38
В тылу	39
О маме Клавдии	42
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Павел Гушинец

Война девочки Саши

© Гушинец П., 2022

© Оформление. ОДО «Издательство “Четыре четверти”», 2022

* * *

Автор выражает благодарность всем участникам проекта, самим ветеранам, их детям и внукам, а именно: Новаку Мечиславу Францевичу; Абрамянц Наталье Павловне; Францевым Александре Петровне и Михаилу Николаевичу; Куксёнок Александре Васильевне, Татьяне Павловне и Ольге; Бондарю Ивану Ивановичу; Надежде Смолячковой; газете «Навіны Палесся»; Столинскому совету ветеранов и особенно Нине Калениковне Тарасовой; Ивьевскому краеведческому музею и его директору Марине Петровне Позняк; Воложинскому краеведческому музею и его директору Ловчей Наталье Павловне; Столинскому краеведческому музею и его директору Светлане Павловне Веренич; Марине Викторовне Куксёнок-Симонич, хранителю фондов музея г. Полоцк; Богдане Потехиной; Дехник Марине Игоревне; Говору Евгению Ивановичу; Михайловой Ольге Викторовне; Ольге Внучкиной; Прокопович Елене Евгеньевне; Ковалёвой Светлане Евгеньевне; Елене Онищенко; Вере Геннадьевне Новиковой; Олегу Яровому; Ларичевой (Пташик) Анастасии Артёмовне; Юлии Елагиной; майору медицинской службы Александру Романчику и его супруге Анастасии Москаленко; Александру Ермаченко; Екатерине Кайманович.

От автора

Уважаемые читатели, автор не претендует на энциклопедическую достоверность произошедших событий по той причине, что участники этих событий давно умерли и истории рассказали автору их дети, а иногда даже и внуки. Свидетелей с каждым годом становится всё меньше, поэтому тратить время на проверку каждого факта я не буду.

Оккупация – процесс для мирного человека странный и загадочный. Читая книги о войне, мы плохо представляем себе, что происходило на оккупируемых территориях. А ведь и тем, кого оккупировали, и тем, кто оккупировал, приходилось годами жить, выживать рядом. По своей воле или против неё находить какие-то пути сосуществования. Этот странный, противоестественный симбиоз порождал иногда такие истории, в которые и поверить трудно.

Мы привыкли, что война – это когда немцы против наших. А когда наши против наших? Когда поляки, украинцы, белорусы, русские сжигают белорусские деревни, расстреливают их жителей, закапывают в землю живых евреев? Это тоже война. И потомки этих (хотел написать – людей, но что-то клавиатура не слушается) живут рядом с нами, скупно отвечая, мол, дед тоже воевал. А медалей нет – ну не заслужил. А некоторые, наоборот, гордятся.

И это страшно. Немецкая журналистка Аннегрит Айххорн покончила с собой, увидев фотографию, где её отец, офицер вермахта Карл Шайдерманн участвует в казни минских подпольщиков 26 октября 1941 года. А внуки участвующих в тех же событиях карателей из литовского батальона под командованием Импулявичюса уже задумываются: а может, прав был дед? И каратели 118-го батальона шуцманшафта, сжигавшие Хатынь, нелюди, расстреливающие жителей деревни Кости, говорили между собой не по-немецки. С теми, в кого они стреляли, у них не было языкового барьера.

Всё это война. Я не профессиональный историк, чтоб судить, кто был прав, а кто не прав. Поэтому я написал всё как есть. Всё, как помнят участники этих событий, или то, что сохранили в памяти их дети.

Мы не должны забыть.

Война девочки Саши

Саши (Александра Петровна Францева, 6 лет, город Семилуки Воронежской области)

Первые воспоминания

Первое воспоминание Саши – это фонтан. Ей, наверное, ещё года четыре, потому что у неё есть мама и папа, они рядом, и все вместе гуляют по летнему Воронежу. Воронеж большой, светлый, все здания целы, лица у людей радостные. Ярко светит солнце, повсюду красные флаги и красиво одетые люди, где-то недалеко играет оркестр.

Папа убегает покупать мороженое, а мама встретила подружку и болтает с ней. А Сашу заморозил фонтан. Солнце бьёт через прозрачные струи, рассыпается радугой, мелкие брызги летят во все стороны. Саша делает один шаг, второй, наклоняется над водой. Поскальзывается и летит вниз, в кипящие водовороты. Даже не успевает испугаться, как её подхватывают чьи-то сильные руки. Высокий военный держит Сашу над водой, хмурится:

– Ты чья, стрекоза?

Подбегает испуганная мама, охает, разглядев мокрое платье.

– Что ж вы, мамаша?! – отчитывает её военный. – Ребёнок чуть не утонул, а вы с подружкой болтаете?

Мама краснеет, виновато опускает голову. Военный передаёт ей Сашу, кивает на прощание и идёт дальше по площади, чеканя шаг. Мама крепко обнимает Сашу. Мокрое платье уже холодит кожу, но Саше всё равно радостно. Мама рядом. И папа спешит к ним с мороженым.

Ещё одно воспоминание – это зима. Мальчишки цепляются за ревушие чёрные грузовики, катаются, потом отпускают руки и с визгом летят в сугробы. Лица раскрасневшиеся, пальто в снегу. Водители бранятся, выбегают из кабин, но мальчишкам всё нипочём.

Весной на реке начался ледоход. Огромные льдины с треском выламывались из берегов, хрустели, тёрлись друг о друга боками. Те же мальчишки, хвастаясь друг перед другом смелостью, прыгали на самые крупные, несколько шагов ехали на них вниз по течению. Потом сигналы обратно на берег.

И следующим воспоминанием сразу самолёты. Самолёты режут в небе, проносятся над самыми крышами. От самолётов надо прятаться, потому что оттуда, с высоты могут бросить бомбу. Загорится дом, разлетятся в разные стороны крыша, стены. Заслышав гудение в небе, жители Семилук бегут в подвалы, набиваются в тёмную духоту и дышат через раз, вздрагивая от каждого разрыва.

Горит завод. Чёрный густой дым стелется по улице. Самолёт над головой стрекочет пулемётом, бабушка прячет Сашу с сестрой в подвале. Трясётся стена, на голову сыпется мелкий песок. Бабушка бормочет что-то про себя. Прижимает к себе детей.

В начале войны с бабушкой жили ещё двое сыновей, Сашиных дядьев, – Евгений и Алексей. После очередного ночного налёта они полезли в разбомблённую районную библиотеку спасти хоть что-то из книг. А тут в небе ещё один хищник. Взревела бомба, взрывом одному из дядьев оторвало ноги. Второй тут же оттащил его к доктору (тогда в Семилуках ещё были доктора). Врач наложил жгут, вытащил осколки, остановил кровотечение. И с последним отступающим обозом дядья уехали в Котовку. Где они сейчас?

Шоколадка

Лето 1942-го. Фронт ещё рокотал где-то недалеко, за горизонтом. Пепел сгоревших домов ещё остро пах дымом и человеческой бедой. В небе то и дело с рёвом проносились самолёты. Схватывались в скоротечных небесных боях и падали на землю, как раненые птицы. Но в Семилуках уже наступила тишина. Тишина страшная, настороженная. С июля город находился на оккупированной территории.

По вечерам соседи полудеревенской окраины ходили друг к другу, долго сидели на кухнях. Старики курили, обсуждали, как дальше жить, что делать. Бабушка Саши в этих разговорах не участвовала:

– Чего болтать! – резко отвечала она на сетования подружек. – Жить надо. Детей растить. Война пришла и ушла. Придут мужики с фронта – с нас спросят, где дети? Что мы им ответим? Не смогли? Поэтому хватит, бабоньки, ворчать на немцев. Вон огород сохнет.

И уходила огород поливать, или грядки полоть, или траву для козы рвать. Раньше пасла Машку за околицей, но немцы как пришли, сразу всю скотину, что на глаза попала, прирезали и в котлы отправили. Дед Николай, когда корову забирали, кричал сильно. Так его стукнули прикладом по голове – и не встал больше. Бабушка про это знала, поэтому, когда солдаты в серой форме ловили по двору кур, слова им не сказала. Спрятала Сашу с сестрой за печкой и лишь сухими глазами смотрела на то, как гогочущие немцы сворачивали её курам шею.

Один подошёл потом, улыбался, по плечу похлопал. Сказал что-то. Молодой, и двадцати нет. Сытый, гладкий, нахальный. А бабушка морщинистая, смуглая, руки за спиной спрятала, потому что хотелось вцепиться ей в эту откормленную рожу. Сдержалась. За печкой прятались две внучки. Пропадут без неё.

Через неделю Сашина тетка отдала бабушке трёхлетнего брата Колю – присмотреть, пока сама в поле работала. Девчонки пеленали кукол в доме, бабушка возилась с печью, а Коля сидел на пороге, играл с единственной своей игрушкой – серебристым солдатиком-пограничником. С порога то и дело доносилось его бормотание и «Тыщ-тыдыщ!». Серебристый пограничник шёл в атаку на россыпь ржавых гвоздей и дохлого паука.

По улице шёл пожилой немец. Форма пыльная, лицо усталое, из-под пилотки – седые волосы неровными вихрами. У бабушкиного дома приостановился, дышит тяжело, лицо платком утирает, видно, жарко ему в сапогах и в форме. А Колька, дурачок, пограничника поднял, прицелился в чужого солдата игрушечным серебристым ружьём и затянул своё:

– Тыщ-тыдыщ!

Немец нахмурился. Снял с плеча автомат, к плечу приложил, прицелился. Колька онемел. Смотрит в черный зрачок смерти и едва дышит. Крошечным своим умишком понял, что конец ему сейчас, что вся его трёхлетняя жизнь в руках вот этого страшного краснолицего человека.

Бабушка немца в окошко увидела – бросилась к порогу. Схватила Кольку-дурачка, в сени толкнула, закрыла его собой.

– Иди, иди себе, – замахала на немца руками. – Иди, он малой ещё, не понимает. Иди, ради бога!

Немец автомат опустил, шагнул к бабушке и вдруг заговорил. Показывал пальцем на Кольку, на автомат, мотал головой: «Найн, найн!» У самого в глазах чуть не слёзы. Девчонки кукол бросили, стоят с открытыми руками. Бабушка от немца отступает, Кольку за спину прячет. Немец что-то постоянно повторяет. Достал из кармана фотокарточку, тычет в неё пальцем. А там он с красивой женщиной, рядом трое мальчишек в коротких шортах.

– Тыщ-тыщ – найн, найн! – мол, пошутить хотел.

– Иди уже, – сурово сказала ему бабушка. – Напугал ребетёнка.

Иди себе.

Немец голову опустил. И вдруг полез в сумку, достал шоколадку, сует её Кольке.

– Нимм, нимм (Возьми).

Колька и рад бы, да штаны от страха мокрые.

– Возьми, Колька, – сказала бабушка.

И Колька трясущимися руками взял шоколадку. Немец ещё что-то сказал, погладил Кольку по голове и ушёл.

Через пару недель, когда жителей окраины сгоняли в колонну, чтобы вести на станцию, а оттуда в концлагерь, Саша узнала среди солдат и того пожилого немца, что подарил Кольке шоколадку. Он тоже кричал, замахивался на кого-то прикладом, толкал в спину старух. И всё это с каким-то страшным, пустым лицом.

Увидел Сашу с бабушкой – отвернулся.

Эшелон

В конце августа окраина Семилук была разбужена рёвом моторов и криками на лающем немецком языке. На деревенской улице остановились полдюжата грузовиков, из них выскочили солдаты в серой форме и начали методично выгонять жителей окраины на улицу.

– Началось, – вздохнула бабушка, едва выглянув в окно.

Бабушка помнила Гражданскую и революции, да и слухи по дворам давно ходили. Поэтому узел с одеждой и нужными вещами давно стоял под дверью. Она едва успела поднять Сашу с сестрой, умыть их в кадке с водой, погасить в печи огонь, как в дверь заколотили прикладом.

– Иду, иду, ироды, – бабушка подхватила узел, накинула на плечи девочкам зимнюю одежду (Саша ещё удивилась: август же на дворе) и вышла на улицу.

На улице – крики, плач, редкие выстрелы. Пока в воздух. Бабы ревут, тащат из домов то, что под руку попало. Вон Семёновна, дура старая, герань в горшке тянет, дед Степан зачем-то хомут ухватил и несёт, словно самое дорогое. Самовары, чугуны, фотографии в рамках, иконы. А многие босые, в одежде, в которой в хлев ходили.

Немцы торопят, но дают на сборы минут десять, о чём орёт в мегафон на плохом русском долговязый офицер. Но разве за десять минут разберёшься, что ухватить из рассыпающейся, словно картонный домик, жизни.

Кто-то прячется. Его выволакивают за волосы, за одежду. Кто-то в панике бежит. Ему стреляют в спину. Уже приволокли окровавленное тело хромого Иваныча. Его в самом начале войны зацепило осколком, он и вернулся из госпиталя обратно в Семилуки. Да, видно, смерть только отсрочила свою работу.

Таких умных или опытных, как бабушка, немного. Они идут с узлами, чемоданами. Они ждали. Предатель Бируков и тут выкрутился, стоит в стороне, словно его это вовсе не касается, курит с полицаями. Даже улыбается, гад.

Немцы построили жителей Семилук в длинную вереницу, сами стали по бокам и погнали людей на станцию. Грузовики медленно поехали следом.

– Хоть бы детей посадили, сволочи, – ворчит под нос бабушка. Она идёт, придерживая на плече огромный узел.

– Слышь, поднёс бы, – толкает узлом бредущего рядом молодого немца.

Тот смотрит на неё недоумённо.

– Не учили старшим помогать?

Немец пожимает плечами, отходя в сторону от безумной старухи.

Идут медленно. Солнце поднимается. Жарко. Саша в зимней одежде вспотела. Сестра просит пить. Бабушка достаёт из узла запасённую бутылку воды. Но разрешает сделать только несколько глотков. К бабушке тут же бросается соседка.

– Михайловна, дай и мне! В горле пересохло.

– Обойдётся! – огрызается бабушка, пряча бутылку обратно в узел. – У меня вон две девки. Не подумала сама – терпи теперь.

Соседка бранит бабушкину жадность, но отходит в сторону.

Идут мимо голых стен эвакуированного завода, мимо пустых полей, поваленных телеграфных столбов. Через мост, который уходящая Красная армия взорвала, чтобы немцы не прошли дальше, в Воронеж, а немцы нагнали солдат и восстановили за ночь. Переправу наладили худую, мост скрипел и качался даже под ногами пешеходов.

Ближе к вечеру добрались до узловой станции Латная. Огородили поле колючей проволокой, загнали туда людей и, казалось, забыли про них. Прошли сутки, вторые. На третьи пригнали по дороге и загнали под колючку ещё одну деревню. Стало теснее, шумнее. Зато Саша

увидела тётку с младшим братом. Под жарким солнцем без воды и еды умер кто-то из стариков. Его положили с краю поля, под самую колючку. Немцы тело не забрали, ходили мимо, морщили носы.

Наконец подогнали поезд с открытыми платформами и принялись грузить людей. На одной платформе уже было полно раненых красноармейцев. Их охраняли строже, по краю стояли вооружённые до зубов автоматчики. Гражданских загнали безо всякой охраны.

Ещё через час тронулись. Саша с бабушкой сидели у самого края. Саша видела измученные лица солдат, даже слышала, о чём они переговаривались.

Пока ехали, всё время бомбили. То советские самолёты, то однажды, совершенно неожиданно, немецкие. Поэтому ехали очень медленно. Пути были забиты эшелонами. На каждой станции был бардак, крики, выстрелы.

Военнопленные всё время затягивали «Катюшу». Немцы злились, стреляли вверх, били сапогами тех, кто поближе к краю. На некоторое время замолкали, потом затягивали снова. Немцы опять били крайних. Так крайние стали просить тех, что пели:

– Товарищи, не надо. Они же нас забьют насмерть.

Некоторое время было тихо, потом кто-то упрямый из середины снова начинал:

Ра-а-асцветали яблони и груши...

Пели, пока немцам это не надоело. Тогда они втроём вытащили из кучи какого-то раненого, перебросили его через борт платформы. Раненый кричит от страха, в полуметре от его лица мелькают шпалы. Немцы тоже кричат, указывая на него руками. Пленные тоже кричат, умоляя отпустить товарища, бабы ревут заранее.

Выбрасывать не стали, видно, приказа не было. Затащили заикающегося солдата обратно и швырнули на раненых сверху. Больше никто не пел.

На станции Благодатенский разъезд снова налетели самолёты, разбомбили несколько вагонов. В стороны полетели щепки, части тел. На голову посыпалась поднятая взрывами земля. Немцы кинулись с платформ под укрытие зданий станции. Военнопленные не растерялись – сыпанули в стороны. А за ними бросились и жители Семилук. Да только недалеко ушли. Кусты и деревья вокруг станции немцы вырубил: боялись партизанских диверсий. Бежали в поле, по улицам. Немцы опомнились, стали ловить, как зайцев, стрелять в убежавших.

У бабушки в Благодатенском разъезде был знакомый. К счастью, он оказался дома. Бабушка постучала в ставню, знакомый открыл и спрятал их в погребе.

К темноте бомбёжка затихла, немцы всех согнали обратно. Кого не догнали, застрелили. Рядом с рельсами выросла целая куча тел. Бабушку и девочек не нашли. Знакомый – рабочий станции – несколько дней прятал их, кормил, выделяя из своего и без того скудного пайка.

Ушедший эшелон разбомбили потом под Курском. Все, кто на нём уехал, больше никогда в Семилуки не вернулся.

В начале сентября бабушкин знакомый договорился, и на попутном поезде их подвезли обратно, на пустую улицу Семилук. Ненадолго Саша вернулась домой.

Бируков

В самом конце улицы, в сером неказистом домишке жил Бируков. Был он одинокий мужик, какой-то неприкаянный и никому не нужный. Про таких в народе говорят «ни рыба, ни мясо». Трудился на какой-то непьюльной работе, вроде однажды грозил ему срок за то, что выносил он с этой работы какие-то мелочи, в сороковые с несунами строго было. Но то ли повезло ему, то ли сдал следствию кого покрупнее – отпустили и даже с работы не уволили.

Как война началась – он и тут выкрутился. Нашёл себе справку о куче болезней, а когда фронт подобрался совсем близко, тут уж не до него стало. Так и остался в Семилуках. Почитай, единственный здоровый мужик на улицу.

При немцах он тоже вперёд вылезать не стал. Любомиров и Тюрков – бывшие окраинные алкаши и воры – тут же подались в полицаи. Их знали и ненавидели. А Бируков пил с полицаями самогонку, прислуживал по мелочи, но за винтовку браться не спешил. Соблюдал какую-то крысиную осторожность. Полицаи могли вломиться в дом, отобрать последнюю курицу, увести козу, вытащить из подпола мешок картошки. Бируков никогда подобным не занимался. Вытащит из-под курицы свежее яйцо, выпьет на глазах ошарашенной хозяйки, ещё и подмигнёт ей, мол, пошутил. Не больше.

Или вот такое было. Бабушкина соседка Люба, мать троих малолетних детей, надёргала в огороде свёклы, нарезала капусты и наварила чугунок овощной похлёбки. Ароматы варева предательски поползли по улице. И Бируков тут как тут. Зашёл в дом нагло, уселся за стол, сам достал тарелку, ложку и рукой махнул:

– Наливай гостю!

– Какой ты мне гость?! – упёрлась Люба. – Иди отсюда!

– Тарелки варева жалко? – прищурился Бируков. Сам улыбается, а глаза злые-злые.

– У меня дети голодные из-за тебя останутся.

– Небось не оголодают. Вам же, евреям, манна с неба падает. Фамилия у Любы Петрова. О том, что отца её детей зовут Яков Рувимович, только местные знают. А немцам только намекни. Скрипя зубами, налила Люба «гостю» полную тарелку. И тот съел, хоть каждую ложку голодные дети провожали взглядами. Ещё и поблагодарил.

Или вот ещё.

Бабушка Саши была известная портниха. Шила всем на заказ и брюки, и рубашки. До войны был хороший приработок, да и сейчас помогало не оставаться голодными. Саша помнила, как по вечерам при свете керосинки бабушка методично втыкала иглу в длинные куски ткани, что-то резала скрипучими ножницами, а наутро на спинке стула висела новая, красивая вещь.

Вот однажды вечером Бируков и пришёл к бабушке:

– Сшей мне рубаху, моя расплзается уже.

– Что значит сшей? – ворчит бабушка. – Материал давай, нитки.

Деньги за работу.

– Давай по-соседски. Мы ж русские люди, должны помогать друг другу в это непростое время.

– Тебе и так помогают, – огрызнулась бабушка. – Вон рожа сытая, лоснится. И самогоном несёт. Иди себе, пока я за кочергу не взялась!

– Не сделаешь – я полицаям скажу, что у тебя дети – коммунисты на фронте. Тебя расстреляют. Малые с голоду помрут.

Бабушка держала в руках ножницы. На секунду Саше показалось, что сейчас она вонзит эти ножницы в горло Бирукова. Ведь бабушка всегда сама по осени резала кабанчика и крови не боялась. Сам Бируков тоже, видать, что-то заподозрил, поэтому отступил на шаг:

– Эй-эй, не балуй!

– Сядь! – резко сказала бабушка.

У Бирукова подкосились ноги, и он опустился на табуретку:

– Михайловна, ты, это...

Бабушка потянулась к полке и взяла портняжный метр. Наутро новая рубаха была готова.

Когда улицу угоняли в лагерь, Бируков стоял в стороне с полицейскими, курил, о чём-то разговаривал. К нему подошёл немец, толкнул в спину прикладом. Но тут Тюрков что-то сказал ему, и немец отстал. Саша видела, как Бируков кланялся Тюркову, но полицией только махнул рукой, гадливо сплюнул и отошёл в сторону.

Вместе с отступающими немцами Бируков исчез. Где ходил, что делал, никто не знает. Вернулся почти через год худой, оборванный, с голодными воспалёнными глазами. Сел на полусгнившую скамейку у своего дома и принялся кланяться у проходящих махорку.

Как война закончилась, думали, расстреляют его. Как-никак помогал врагу на оккупированной территории. Свидетелей – вон, целая улица. Каждый день ждали, что приедут из Воронежа «кто надо» и заберут. Так и не забрали.

Вернувшиеся с фронта мужики всё порывались набить ему морду, особенно на Девятое мая. Но Бируков как чувствовал опасность. Хоронился где-то. Мужики трезвели и остывали. Яков Рувимович, правда, подошёл к делу по-еврейски обстоятельно. Он вернулся с фронта без одной ноги, зато с тяжёлым костылём. Этим-то костылём он и сломал Бирукову два ребра. Предатель полежал в больничке, а потом опять объявился в Семилуках. Сколько раз мальчишки били ему окна – не сосчитать. В начале шестидесятых из Воронежа прислали нового участкового. Молодого, худого, из того поколения, которое недоело в войну. Бируков воспрянул духом и после очередного хулиганства детворы пошёл жаловаться. Участковый выслушал предателя, пошёл к виновникам разбираться.

Там-то ему и рассказали, за что местные не любят окраинного бобыля. Милиционер вышел белый лицом, с закушенными губами. Что-то с ненавистью сказал Биркову, рука его ползла к поясу, на котором висела кобура. Бирукова как ветром сдуло.

– Теперь точно заберут, – решили местные. Однако и тут ошиблись.

Бируков ещё полвека прожил на улице, не здороваясь ни с кем. В середине девяностых ещё и начал выбивать себе какие-то ветеранские привилегии. Может, и выбил бы, да Бог не дал. Прибрал к себе предателя. А там уж суд другой.

Дети войны (Венгр)

Декабрь 1942 года выдался снежным и холодным. Саша с сестрой почти всё время сидели в доме, на едва тёплой печи, выйти на улицу было не в чем. У них на двоих оставался только необъятный бабушкин платок, драное Сашино пальтишко да отцовские растоптанные ботинки, которые так и норовили соскользнуть с детской ноги и затеряться в глубоком сугробе. Тут уж не поиграешь, не побегаешь.

С утра бабушка шла к неумолимо тающей поленнице, скупно выбирала жалкую охапку дров, ставила в печь чугунок с картошкой. Перед этим она колола в сених одно из поленьев на щепки. От тяжёлого буханья тупого топора Саша и просыпалась. Выбиралась из-под ватного одеяла, поднимала голову, выдыхала изо рта почти невидимый парок. Бабушка входила в комнату, грохотала дровами, с лязганьем ставила у печи топор. Щурясь от едкого дыма, растапливала её. Саша спускалась вниз, чтобы помочь ей. Она всегда просыпалась раньше сестры. Валя любила поспать под тёплым одеялом. А когда Саша уходила, освобождая половину тесной лежанки, даже вздыхала с облегчением, снова проваливаясь в зыбкий утренний сон.

Бабушка гладила Сашу по голове, говорила что-нибудь хорошее. Шли умываться в сени, где стояло ведро колодезной воды. Вода успевала прихватиться тоненьким ледком, и бабушка, перед тем как зачерпнуть, разбивала этот ледок деревянным ковшиком. А иногда Саша сама продавливала этот ледок пальцем. Это было интересно. Он хрустел, ломался, под его тёмным стеклом перебежали прозрачные пузырьки воздуха. Но однажды Саша порезала палец этим ледком, и было больно.

К декабрю притихнувший было фронт под Воронежем снова ожил. Загрохотали пушки, гул канонады не смолкал ни днём ни ночью. В деревне шептались, что наши перешли в наступление. Люди робко надеялись и боялись, что отступающие немцы начнут срывать злость на мирных жителях. Как ужасные сказки, передавались из дома в дом истории про сожжённые в сараях сёла. Всем было страшно.

Притихли местные полицаи Любомиров и Тюрков. Ещё полгода назад ходили они по деревне гоголями, отнимали всё, что понравится, могли избить любого. И попробуй им ответь. Они, мол, нынче власть. А теперь затихли. Крадутся по улицам, как тени, и не видно их, не слышно. И немцев совсем не стало.

Честно говоря, за всю войну Саша видела немцев раза три. Проезжали они через деревню на ревущих машинах, шли длинными колоннами пехоты. Однажды летом катили четвером на велосипедах, остановились у колодца, пили, гоготали, говорили о чём-то по-своему. Деревенские потом ведро, из которого немцы пили, на помойку выбросили. Хотя на всю деревню этих вёдер штук пять осталось. Ещё приезжал к полицаям их начальник – толстый немец с двумя приятелями. В хате у Любомирова они пили самогон, пели какие-то непонятные песни.

Немцев Саша представляла плохо. Для неё врагами были полицаи. Немцы не успели сделать ничего плохого. Они проходили мимо, даже не замечая маленькой деревни. А вот полицаи жили тут постоянно. Немцев ненавидели за то, что они немцы. А полицаев за то, что они отняли у соседки Варвары Петровны последнюю курицу, за то, что выбили зубы старику Трофимычу, за то, что ударили Борьку-пастушка по голове сапогом, и он потом долго лежал в своей хате.

Зимой немцы появились в последний раз. Пронеслись через деревню, как саранча. Забрали последних кур, лошадей, всё, что осталось. Не стеснялись выгребать из погребов мёрзлую картошку. В глазах солдат появился голодный блеск. Много стало обмороженных и раненых. По утрам стучали прикладами в дверь. Бабушка с трудом открывала. Дверь примерзала к косяку. Требовали еды, бесстыдно шарили в старушечьем и детском барахле. Брать уже было нечего, уходили разочарованные.

Однажды бабушку позвали в соседний дом. Там по какому-то поводу пировали немецкие офицеры. Нужно было приготовить им еду, прислуживать за столом. Бабушка пошла, надеясь, что дадут хоть какой-то еды. Немцы быстро напились, запели какие-то тоскливые песни, двое обнялись и заплакали. Потребовали у бабушки нагреть воды, чтоб помыться. Были они все худые, облезлые какие-то. Шарахались от всего.

Начали показывать друг другу фотографии своих «фрау». Бабушке любопытно стало, она заглянула через плечо одному. Тот дёрнулся, как будто на голову ему свалились два десятка партизан. За пистолет схватился.

Бабушка ему:

– Да сиди ты, чёрт сопатый!

Тот и осел кулём на скамейку. Пряча глаза от других офицеров, спрятал пистолет.

Однажды вечером бабушка, как обычно закончила все свои дела и уселась перед тусклой керосинкой. Валька накануне порвала платок, зацепившись за ветку яблони. И теперь бабушка зашивала этот платок, подслеповато щуря глаза.

За окном выл ветер. Он бросал в стекло снежную крупу, пробивался сквозь щели, кружа на полу крошечные соломинки. Вдалеке привычно грохотал фронт. Саша уже засыпала, когда в дверь постучали. Постучали громко, уверенно. Этого стука боялись все деревенские. Так стучали Любомиров и Тюрков, приходя в очередной раз отнять что-нибудь.

Бабушке не хотелось открывать. Но куда деваться. Она тяжело встала, медленно пошла в сени, хрипло спросила оттуда:

– Кто?

В ответ сквозь вой ветра что-то на чужом языке. Саша соскользнула с печи, пошла вслед за бабушкой. Валька зашипела в спину:

– Дура! Ты куда?!

А Саша знала, что бабушке одной страшно. И хотела её как-то поддержать.

Бабушка открыла дверь, и в сени вломился кто-то в чужой заснеженной форме. Человек вёл под уздцы лошадь, запряжённую в сани, и ломился в дом прямо с этой лошадью, с санями и снегом.

– Куда? Куда прёшь, шельма?! – грозно сдвинула брови бабушка. Незнакомец остановился, залопотал что-то, размахивая руками, показывая на лошадь, на сани, на тёмную фигуру, лежащую на санях.

– Немец? – прошептала Саша.

– Кажется, мадьяр, – ответила бабушка.

Венгров Саша тоже видела всего пару раз. Они прошли через деревню ужу ближе к зиме. Почти все молодые, усатые. Они не смеялись, как немцы. Лица венгров были испуганны и не улыбки. Они шли умирать.

Мадьяр снова что-то залопотал, показывая на лошадь.

– Не умеет лошадь распрячь, – сказала бабушка. – Городской, видно.

Вдвоём с венгром они подняли с саней тёмную фигуру, отнесли её на бабушкину кровать. Бабушка вышла, распрягла лошадь, отвела её в пустующий сарайчик. Всё это время венгр сидел на табуретке, привалившись спиной к печи. С него капало на пол. Между ног стоял страшный карабин, поблёскивающий в свете керосинки воронёным стволом. Был он совсем молодой, смертельно усталый. Под глазами чёрные тени, руки трясутся, губы сжаты в узкую полоску. Саша спряталась от греха подальше к Вальке под одеяло. Вместе с сестрой они наблюдали за ночным непрошеным гостем.

Вернулась бабушка:

– Ну, что тут у тебя?

Венгр вскочил, принялся показывать на лежащего, что-то просить.

– Вижу, что раненый. Куда его? Венгр показал на ногу.

– Понятно.

У бабушки не было медицинского образования. Но когда позапрошлым мирным летом охромела их корова, напоровшись в поле на проволоку, бабушка лечила её сама. И тут не испугалась. Взяла большие ножницы, подошла к раненому (венгр испуганно дёрнулся, поднял карабин).

– Тихо ты! Сядь!

Венгр послушался. Слов он не понимал, но тон у бабушки был такой, что не послушаться было невозможно. Бабушка срезала с лежащего сапог. Тут же потекла кровь, раненый застонал.

– Ишь как тебя зацепило. Бинт есть? Венгр непонимающе замотал головой.

– Бинт! Ногу перевязать! Снова мотает.

– Послало вас на мою голову, – проворчала бабушка. Она достала из сундука своё старое летнее платье, оторвала кусок от подола и плотно забинтовала рану. Кровь остановилась. Раненый снова затих.

– На лавку ложись. Поспи, – сказала бабушка венгру. Тот испуганно глянул на неё, загорживаясь карабином.

– Тьфу, вояки! Старухи с двумя детьми испугался!

Бабушка подошла к печи (взгляд венгра застыл на стоящем у стены топоре, карабин снова задрожал в руках), бросила в тарелку несколько картошин из чугунка.

– На, вот. Поешь, вражина.

Венгр вцепился в тарелку. Картофелины исчезли, словно по волшебству.

– Довоевались? – проворчала бабушка. – А нечего было...

Всю ночь, до рассвета венгр сидел у печи, лишь изредка поднимаясь, чтобы напоить раненого. Он очень хотел спать, но страх, что эта русская старуха зарежет его и товарища ночью, был сильнее. Несколько раз он на минуту забывался тревожной дремотой, карабин кренился к полу. Но он почти сразу же испуганно вскакивал. Смотрел на топор, на бабушку. А бабушка отрезала кусок от отцовской шинели и всю ночь шила раненому бурку вместо срезанного сапога.

Утром они с венгром натянули бурку на повязку, запрягли лошадь в сани и ночной гость ушёл, пробормотав что-то на прощанье. Бабушка тихонько перекрестила его вслед.

Деревенские потом ругали бабушку, мол, зачем приютила врага, зачем дала ему еду, помогла с раненым.

А бабушка неизменно отвечала:

– Это там, на фронте они враги. А ко мне пришли двое испуганных пацанов, пусть чужих, пусть незнакомых. Я не могла им не помочь. Они ж дети. Совсем ещё дети.

После войны

После войны Саша ещё раз увидела немцев. Вместе с бабушкой они приехали в Воронеж, и там за высоким забором шла стройка. Длинные фигуры в оборванных френчах таскали кирпичи, катили тележки, месили раствор. Восстанавливали то, что разрушили в годы войны.

– Хорошо строят? – спросила бабушка у знакомого прораба.

– Хорошо-то хорошо, – вздохнул тот, – только всё норовят напакостничать. Недавно вот замуровали в вентиляцию бутылку, как ветер дует – в вентиляции выть начинает, как будто там собака застряла. Пришлось полстены разбирать. Глаз да глаз за ними нужен.

Ещё через пару лет всех немцев из Воронежа увезли. И длинные фигуры, разговаривающие на чужом лающем языке, навсегда исчезли из жизни Саши.

Жёлтые сосульки

Наташа, 4 года, Ленинград (доктор Наталья Павловна Абрамянц, 8 сентября 1937 г. р.)

Мы жили в Ленинграде на Кировском проспекте в знаменитом и очень красивом доме архитектора Бенуа. Я очень любила этот дом, особенно его колонны. Становилась у подножия и смотрела, как снежинки летят, ударяются о коричневые гранитные столбы. Иней одевал эти колонны свадебной кисей. Сестра по двору бегаёт, играет, а я на столбы смотрю, оторваться не могу. Мама поступила на химико-фармацевтический факультет первого меда, приехала в Ленинград из Луги, там оставались жить её мама и бабушка.

Была уже замужем, родилась моя сестра Людмила (все звали её Милушка), когда мама на лестнице в институте встретила моего отца доктора Абрамянца. Ну и потеряла голову. Он красивый был, высокий. Мама его по имени-отчеству называла. А ещё – доктор Абрамянц.

Отец был не от мира сего. Бессребреник, только о работе думал. Сидит как-то в комнате, пишет что-то. Слышит: стук со стороны чёрной лестницы. Пошёл открывать. А там стоит мужчина и просит отца:

– Нет ли у вас какой-нибудь одежды? Поизносился весь...

Отец идёт в комнату, достаёт из шкафа свой единственный костюм и отдаёт незнакомцу. Закрывает дверь и идёт опять с бумагами работать. Мама приходит:

– Где костюм?

Отец:

– Я его отдал.

– Кому?

– Тому, кому нужнее.

С детства меня спрашивали:

– Ната, кем ты хочешь быть?

– Врачом, конечно, – безапелляционно заявляла я.

Подружки во дворе мечтали быть балеринами, актрисами. А я – врачом, и всё. У меня и мысли не было, что я стану кем-то ещё.

Война летом началась. Все дети, школы, детские сады за городом были, в лагерях. Так спешно везли их обратно, в автобусах, грузовиках. Женщины бегали среди этих грузовиков, искали своих, кричали, плакали. Паника была, неразбериха.

Бабушка с прабабушкой к нам в Ленинград из Луги приехали. Мол, такое время, надо вместе держаться. Поселились у нас в комнате. Спали на полу, на матрасе. Место мало, тесно, но все свои, никто не обижался.

Мне четыре года было, когда война началась. Сестра постарше, лет девять, но тоже маленькая ещё. 8 сентября мой день рождения, мы с мамой и её подругой тётёй Наташей собирались в Петровский сад (так назывался парк недалеко от нашего дома). Мы там всегда гуляли, даже когда война началась. И тут по радио объявляют о начале блокады. Мама с тётёй Наташей сели тогда на диван и заплакали. И мы с Людой заревели за компанию. Никто не знал, чем всё это кончится. Если бы знали, ещё громче ревели бы.

Ещё 29 июня дедушка хотел увезти семью из Ленинграда. Вещи уже паковали. А отец с первого дня войны в полевом госпитале, неподалёку. Знаменитый хирург, про него много

книг написали. Приезжал один раз домой, когда его отпустили на выходной, и сказал, что ещё отпустят. Так мама упёрлась:

– Не оставлю мужа! Никуда от него не поеду.

Так и остались. А потом узнали, что эшелон, на котором мы собирались уезжать, немцы разбомбили. И многие погибли.

Дедушка Пётр Григорьевич работал на железной дороге, бабушка – бухгалтером. Дед пропал в самом начале блокады. Он на Витебском вокзале работал, встал с утра, оделся, позавтракал, пошёл на службу. И не вернулся. Пропал. До вокзала не дошёл, и домой тоже не дошёл. Тогда многие так пропадали. Может, осколком задело, может стена рухнула прямо на голову.

У нас в доме была очень красивая лестница. Настоящая дореволюционная, с чугунными решётками-перилами, украшенными коваными розами и листьями. Я маленькая любила по ступенькам прыгать. Разгонюсь и лечу. Всё считала, сколько ступенек перепрыгну. В четыре года уже двух прыжков хватало, чтоб пролёт перемахнуть. А зимой, особенно в феврале 1942-го, обессилела совсем. Шла по лестнице мелкими шажочками, как старушка. По два шага на ступеньку. Смотрела на розы и чуть не плакала, когда вспоминала, как когда-то мне хватало двух прыжков.

Зимой голод был. Еды никакой. Дед пропал. Хлеб по карточкам, крошечный кусочек на день. Холодно, свет пропадает, канализация не работает. Мы с мамой, бабушка и прабабушка сядем все вместе, навалим одежды и одеял на себя, так и греем друг друга. Мама рассказывает что-нибудь. Почти хорошо, если бы только кушать не хотелось да за окном не грохотали артиллерийские разрывы.

Квартира потихоньку пустела. Кто-то уезжал, кто-то пропадал, как дед. Кто-то умирал. Дядя Петя, сосед, умер от голода, несколько дней лежал в комнате, пока нашли. С другой стороны евреи жили, осталась из всей семьи только Фая Сергеевна, пианистка. Комнату закрыла и к сестре ушла в другой дом. Больше я её не видела.

Мама в этой квартире с 1934 года жила, когда заселялась, полная квартира была народа. В каждой комнате по трое, а то и по пятеро. Только в самой дальней – одинокая старушка. С этой старушкой некрасивая история вышла. Была она из каких-то бывших. Дом-то богатый, красивый. Уж чем эта старушка не угодила, не знаю. Но как-то пришли и забрали её. А комнату заперли со всеми вещами. Так соседи ходили, на двери поглядывали, всё думали, как бы эту комнату к рукам прибрать. Не успели. Война началась, вся квартира опустела. Хоть во всех комнатах ходи, если привидений не боишься.

На кухне стояла большая плита, так мама жгла в ней книги (у нас в комнате много книг было), ломала мебель, какую смогла. Мать разожёт плиту, мы соберёмся вокруг, согреемся. Прижимались к плите, пока она не остыла. До последнего ловили всем телом остатки тепла. Даже когда плита полностью остывала, не хотелось от неё отходить, всё казалось, что ещё греет.

Ещё канализация не работала. Все в ведра ходили. Поначалу, пока силы были, ведра по лестнице во двор выносили. Расплескают, конечно, по дороге, это всё замёрзнет. Того и гляди, чтоб не поскользнуться. А потом уже силы кончились, так прямо в окна выплёскивали. В окно выглянешь – все карнизы в жёлто-коричневых сосульках.

Милушку той зимой чуть не съели. Мать как-то выпустила её погулять во двор, на свежем воздухе. Там тогда фонтан был, качели какие-то. Милушка на качелях сидит, на снег смотрит. И подходит к ней женщина.

- Девочка, ты конфеты любишь?
- Люблю, – кивает сестра.
- Ты здесь живёшь?

- Да, вон там наша квартира, в пятом парадном.
- А я совсем рядом, вон в этом доме. И машет куда-то неопределённо.
- Пошли, я тебя конфетами угощу.

Какие конфеты, Милушка со вчерашнего дня не ела. Как заморожённая с качелей встала, уже к женщине руку протянула. Да про маму вспомнила:

– Я только у мамы отпрошусь.

– Не надо отпрашиваться, – машет рукой женщина. – Мы за две минуты туда и сразу обратно. Конфеты вкусные, даже шоколадные есть. Мама и не узнает.

И тянется к сестре, уже за пальто её взяла. Милушка что-то в её лице разглядела, испугалась, рванулась и в парадное убежала из последних сил. Женщина кричала ей вслед, но договорить не стала. У неё тоже, наверное, сил не оставалось.

Милушка в квартиру поднялась, маме всё рассказала. Так мама её потом до весны из комнаты не выпускала. Делает что-нибудь, спохватится:

«Где Милушка?» – побежит искать, не успокоится, пока не найдёт, а тогда схватит Милушку за руку и плачет.

Под домом было бомбоубежище. И когда редела сирена, так мучительно было выбирать из-под одеял, спускаться по длинной бесконечной лестнице, прятаться в подвале. А потом подниматься обратно, останавливаясь и отдыхая на каждой второй ступеньке. Бабушка с прабабушкой однажды не пошли. И перестали ходить. А мама нас с Милушкой заставляла. Мы спорили, хотели остаться с бабушкой, но мама ни разу нас не оставляла.

Мёртвых много было. Люди лежали на улицах, убитые или упавшие от голода. Я сначала пугалась, а потом привыкла, даже не обращала внимания. Только однажды спросила:

– Мама, а почему, когда убивают, вокруг так мокро?

Сестра очень много для меня делала. Мы постоянно лежали на диване, и Милушка бесконечно читала мне книгу «Про Ивасика-Телесика». Мы уже наизусть знали эту книгу, могли с любого места пересказать. Зима 1942-го для меня – это холод, диван и «Ивасик-Телесик».

Отец приехал в город с фронта. Его часть находилась где-то в Синявских болотах, отпустили на несколько часов. Бледный, худой. Он там сутками не спал, стоял у операционного стола. Раненые потоком шли. Увидел, в каком мы состоянии. Пустая квартира, холод, голод. Я была отёчная вся, двигалась с трудом, сестра и мама еле держались на ногах, бабушки вообще не вставали. Отец тогда ничего не сказал, но стал добиваться, чтоб нас увезли из Ленинграда на Большую землю. Надавил где надо. Его ценили очень. Приходят как-то к маме, говорят:

– Есть два места в грузовике. Для вас и ещё одно. Можете взять либо детей, они вдвоём на одно место поместятся, либо кого-то из взрослых.

Я не знаю, о чём мама разговаривала с бабушкой в эту последнюю ночь. Наверное, прощалась. Это был страшный выбор. Мать или дети. Мама с бабушкой даже не задумались. Бабушки утром прижали нас к себе на секунду и отпустили. Больше мы их не видели. Когда уже после войны вернулись в Ленинград, квартира стояла пустая.

Поездку я запомнила очень хорошо. Грузовики неслись по льду, сильно трясло, вокруг взрывы. На наших глазах соседняя машина уходит под лёд. Мы сидим на самом краю, чтоб успеть выскочить, если что. Ладожский лёд стонет от разрывов, во все стороны летят брызги холодной воды и острые прозрачные осколки. Взрывы так близко, что иногда в лицо летит холодная морось. Немцы бомбят, ещё и стреляют с самолётов, грохот не прекращается.

Мама нас прижала к себе, да так и не отпустила до самого конца, а мы с Милушей вцепились в узелки, в которых смена белья да пара сухарей – самое большое наше сокровище и всё имущество. Пересекли мы Ладогу, остановились в какой-то полуразрушенной деревенской

избе, помню, что место это называлось Кабоны. Лежали все на полу, солдаты, гражданские, раненые. Мы устроились у стены, как-то переночевали. А утром сели на поезд.

Мама Милушку спрашивает:

– Куда поедем?

– Поедем к тётё Лёле, – отвечает сестра. Мы вышли на вокзале, нашли нужный поезд и поехали.

Тётя Лёля – жена маминого дяди. Жила в деревне Тоншаево, в Горьковской области. Армянка, двоюродная сестра писательницы Мариэтты Шагинян. Приняла нас, приютила. Какие мы родственники – седьмая вода на киселе. Но для неё были родные.

Вместе с тётёй Лёлей жил её муж, дядя Серёжа. Врач, единственный доктор на всю округу. Его когда-то выслали из Одессы за связи с белыми, чуть не посадили. Местные дядю очень уважали, слушали беспрекословно. А тётя Лёля любила вспоминать Одессу. Всё рассказывала, как они молодыми девчонками бегали по улице, «а Мариэтка всё с книжкой сидела, зануда жуткая».

У тёти было две комнаты, маленькая и большая. В большой мы все жили, а маленькую она демонстративно запирала и никого туда не пускала. Мне было очень любопытно, какие сокровища там тётя прячет. Но стеснялась спросить.

В Тоншаево мы сразу заболели тифом. Приехали грязные, несколько дней не мылись, организм ослаблен голодом, ну и подхватили где-то.

Нас с сестрой положили в больницу, а мама перенесла на ногах. Лихорадка, жар, мы бредили, мама боялась, что не переживём болезнь. Особенно я слабая была. Было бы очень обидно выжить в ленинградской блокаде и погибнуть от тифа в тылу. Выжили.

В Тоншаево мы с Милушей пошли в школу, мама устроилась заведовать аптекой. Переехали от тёти, хотя она была против. Неудобно было её стеснять. Жили в том же здании, где была аптека. Одноэтажное здание, в стене щели, дует отовсюду. Но печку затопим – тепло, светло, на столе хлеб, чай горячий. Что нам ещё после Ленинграда надо? Счастье.

Люди приходили к маме днём и ночью. В темноте стучат в окно:

– Надежда, дайте мне пронзительную палочку! Очень срочно надо.

«Пронзительная палочка» – это градусник.

Задние комнаты были до потолка забиты сухим сфагнумом. Это мох такой. Его применяли для перевязок. И вместо ваты подходил, и какие-то природные антибиотики в нём были. И хранился хорошо. Только запах от него неприятный. Но это ничего.

Мы разбогатели, мама завела кроликов, вязала шапочки из их шерсти, шила платья, штаны, юбки, меняла это всё на продукты. Одежда есть, еда, крыша над головой, за окном никто не стреляет, бомбы не падают. Я на крыльцо выходила, прыгала через ступеньки, очень жалела, что ступенек мало, всего четыре. Я бы опять пролет в два прыжка перемахнула. Милуша надо мной смеялась.

В школе учили плохо. Какие тогда учителя в деревне, в глуши. А я очень хотела научиться читать. Достану книгу «Чембиоки» (это такие вязаные ботинки у марийцев или татар), сижу на крыльце, химический карандаш слюню и каждую строчку аккуратно подчёркиваю, как будто читаю.

Весной ещё одно развлечение появилось. Начали коров выгонять на пастбище, так я выбегала смотреть. Коровы по улице идут, мычат, каждая в свой двор заходит, как дрессированные. Для нас, городских девчонок, цирк и зоопарк. Однажды одной корове что-то не понравилось, она меня боднула. Рог уткнулся в забор рядом с моими рёбрами. Я тогда испугалась и с тех пор только издалека за стадом наблюдала.

Милуша подросла, вытянулась, худая, длинная, одни локти и коленки, да ещё волосы стриженные после тифа во все стороны торчат. Бегала с девчонками деревенскими, а я сзади бегу: «И я! И меня возьмите!» А ей со мной уже неинтересно, у них свои секретки, шушуканья. Остановится:

– Иди домой, это не для маленьких!

А мне обидно. Стою, реву в три ручья. Сейчас-то я её понимаю. Что делать девочке-подростку с малолеткой. А тогда очень обидно было.

В Тоншаево мы прожили долго, но так и не прижились. Были мы там чужие и не к месту. Марийцы вроде и свои, советские, но какие-то неопрятные казались. Под рубахами не носили белья. Могли остановиться посреди улицы, ноги расставить и справлять нужду. В классе крик, гам. Я хочу учиться, а мои одноклассники не хотят, прыгают по партам, учитель для них – пустое место.

В 1945-м, под конец войны маме написали знакомые из Ленинграда:

«Надя, немедленно возвращайтесь, а то займут комнаты. В городе появляются какие-то люди, захватывают жильё, потом ничего не докажете».

Мама собралась в один день.

В июле 1945-го мы вернулись в Ленинград. Комната наша страшная, обои лохмотьями висят, на дубовом паркете – толстый слой земли, кто-то прямо в комнате выращивал картошку, вся мягкая мебель, что осталась (диван и два стула), испорчены, пружины торчат, кто-то что-то искал. Стёкол нет, окна забиты фанерой. Подоконник мраморный, белый, я на нём сидеть любила, так весь исцарапан, скверные слова вырезаны. От бабушек и следа не осталось. Ни записки, ни тряпочки.

Первое время жили у маминой подруги, инженера Веры Сергеевны. Мама с Верой Сергеевной очень долго дружили. У них даже была договорённость, что если кто-то из них заболит тяжело, смертельно, то подруга заболевшей «поможет». Мама была химиком, знала, как всё быстро сделать. Говорила:

– Я лежать не буду!

И не пришлось. Умерла быстро. Но об этом рано ещё. В сентябре мама говорит Милуше:

– Веди Наташу во второй класс.

А там не хотели брать. Сказали, первый класс в деревне не считается. Я еле читала, писала какие-то закорючки вместо букв. Предлагали идти опять в первый. А мама пошла и единственный раз в жизни поругалась. Взяли во второй.

Она всё боялась, что не доживёт, не доучит нас с Милушей. Поэтому торопила, не могла целый год пропустить.

После школы у меня мысли не было куда-то ещё поступать. Только в медицинский. Не поступила я с первого раза, конкурс был такой, что двух ошибок мне хватило, чтоб обошли. Сажу в своей комнате, реву в три ручья.

Мать позвонила отцу, тот приехал, по своим каналам устроил меня в педиатрический. А мне и ладно. Хоть педиатром, хоть лором. Я буду врачом!

Скоро Вовка родился, сын мой. Мне в институт нужно, маме на работу. Мама опять категорично: учись, не пропускай! Кто с сыном сидеть станет? Надо няньку искать. А где её найдёшь, все занятые, серьёзные, а бабушки блокаду не пережили. Август уже, а няньки нет. Я в отчаянии выбегаю в сквер, пристаю к старушкам, которые там на скамеечках сидят:

– Не пойдёте ли в няньки к мальчику?!

А старушки в шляпках, интеллигенция петроградская, смотрят на меня с ужасом, шаркают: что вы, девушка?!

У отца в больнице работала баба Груня. Санитаркой в морге. Она пошла. Добрейшая была женщина, Вовку, как своего внука, любила.

Когда начала работать педиатром, нас в отделении было четверо. Все молодые, год-два после университета.

Первый вызов свой помню до сих пор. Зверинская улица была, рядом с зоосадам. Прихожу, ищу дом, квартиру. Звоню. А накануне мне мама кольцо подарила с александритом. Обычно александрит не дарят: примета плохая. Но мама в плохие приметы не верила. Сказала: – Это тебе на удачу.

Я звоню и смотрю на свою руку с кольцом. Страшно было. В голове пусто. А вдруг не разберусь, вдруг наврежу ребёнку. Дверь открыли, а там мальчишка с хроническим тонзиллитом. Всё по учебнику. Классика. Летела оттуда, как на крыльях. Кольцо на бегу целовала. Страх как рукой сняло.

Был ещё такой случай. Вызвали к еврейской семье. Новорожденный у них, несколько дней от роду. Маме лет сорок, полная такая дама, бабушка при ней, такая же полная и бестолковая. Ребёнок больной, худой, а маме на работу надо. Так я прямо на рецептурном бланке написала:

«Освобождение гражданке Фридман с 1-го по 30-е от работы в связи с болезнью сына!»
Она с этой филькиной грамотой пошла на работу, и её отпустили.

Мне очень нравилось лечить. Ходила по вызовам до одиннадцати ночи. Приходила домой и садилась писать карточки. Мама ругалась, грозила всё моё хозяйство в окно выбросить.

Потом я оставили педиатрию, научилась делать бронхоскопию и перешла работать в госпиталь инвалидов войны. Там работал потрясающий хирург Николай Васильевич Путов, его комиссуротомии считались шедевром.

Бронхоскопия в те годы была страшно мучительной процедурой. Бронхоскопы сейчас гибкие, а тогда были железные. Пациента держали втроём, чтоб он не дёргался. Назначали только в крайнем случае, потому что травмы случались. Но куда было деваться, делали, учились.

Только начала работать, сразу же сделала страшную ошибку. Перелила пациенту не ту кровь. У нас в отделении была процедурная сестра – пожилая очень строгая дама. У неё все врачи по струнке ходили. Гоняла молодёжь, могла накричать. Боялась я её и не любила. И вот как-то ношусь по отделению, а одному из моих пациентов надо было кровь перелить. Иду в процедурку, медсестра суёт мне штатив с кровью. А я нет чтоб проверить, ноги в руки – и бегом прочь, пока не попало. Поставила иглу, села рядом. Тогда врачи контролировали процесс переливания, сидели рядом с пациентом.

Не прошло и пяти минут, пациент кричит:

– Поясница болит!

Я сразу сообразила, что не ту кровь ему дала. Выдернула иглу, побежала за помощью. Спасли его тогда. А меня на утренней пятиминутке, конечно, ругали сильно. Да я и сама знала, что виновата.

Когда Сталин умер, я редела. Взяла какую-то фотографию из газеты, поставила перед собой и проревела весь день. Это же наш мир разрушился. Я его всю жизнь знала. Он всегда как будто рядом был. Родилась – он уже был, в Ленинграде в блокаде он был где-то рядом, думал о нас. В школе над доской его портрет висел, наблюдал, как мы учимся. А тут не стало

его. Поэтому и рыдала. Мать мимо на цыпочках ходила, воду мне стаканами носила. Сейчас вспоминать смешно и стыдно, а тогда была, конечно, трагедия. Крах цивилизации.

Я как ненормальная была с этой работой. Ничего вокруг не видела, не понимала. Если пациент умирал, бежала в морг на вскрытие. Радовалась, когда мой диагноз совпадал с диагнозом патологоанатома.

Однажды умер пациент, его вскрыли, а там первичный рак печени, большая редкость. Я говорю патологоанатому:

– Дайте мне, я своим в больнице покажу.

Тот посмотрел на меня, как на сумасшедшую, но отдал.

Бегу я по улице, мимо меня девушки идут с авоськами, сумками. Там фрукты, продукты какие-то. А я с печенью и первичным раком.

Прибежала в отделение, зову заведующего:

– Смотрите, что у меня есть!

А у меня накануне день рождения был. Заведующий думал, что я его угостить хочу. Пришёл. А я ему печень под нос:

– Смотрите!

– Наталья, что это?

– Первичный рак!

– Фу, какая гадость! Ты с ума сошла!

Лежала у меня старушка в отделении, лечила я её хорошо, она на поправку шла. Приходит её дочь:

– Ну, как дела? Как мама?

– Лечим, – говорю. – Прогноз хороший.

– Я вам так благодарна, – улыбается женщина и протягивает мне букетик астр и духи французские.

А мне неудобно, не привыкла я к подаркам.

– Ну что вы, – говорю. – Не нужно. И тут она строго так говорит:

– Доктор, вы дурно воспитаны. Дают – берите, не ломайтесь.

И я взяла. Я теперь тоже хожу, приношу иногда коллегам что-то. И понимаю, как это хорошо, когда твой искренний подарок берут и не отвергают. Как молодёжь нынче говорит, не выпендриваются.

Я маме жаловалась:

– Что мне всё конфеты носят? Я столько конфет не ем, и девать их уже некуда, весь кабинет завален. Лучше бы книгу принесли, книг у меня мало.

А моя мудрая мама отвечала:

– Так разве они знают, какую ты книгу читала, а какую нет. А конфеты все любят.

С этими конфетами однажды казус случился. Подарили мне коробку, приношу домой, открываю, а там 25 рублей. Какой ужас!

Побежала вечером по темноте обратно в больницу, отдала пациенту эти деньги. Ещё и отчитала его. Глупая была, принципиальная.

Уже в девяностые в Минске я работала заведующей отделением. Так лечилась у меня женщина из деревни. Выздоровела, пришла благодарить. И принесла с собой огромный мешок.

– Что это? – спрашиваю.

– Курыцы, – говорит женщина. – Добрыя курыцы, свае. Бярыце. Стою как дура с мешком этих кур потрошёных, пациентка убежала.

Вызвала её лечащего врача Галю. Та заходит в кабинет. Открываю мешок.
– Бери, – говорю. – Половина твоя.
– Зачем это? – удивляется Галина.
– Ты пациентку лечила, заслуга твоя. Поэтому бери без разговоров.
Придёт после меня другая заведующая, делиться не будет.

Приходилось и психологом работать. Однажды пришла ко мне пациентка вся в слезах и соплях. У неё операция на носу, а она в депрессии, рыдает, боится. Сажаю её в кресло. Рыдает:
– Мне так пло-о-охо!

Утешаю, по плечу глажу. Не помогает. А мне накануне пациентка гладиолусы подарила. Так я этот букет протягиваю рыдающей:

– Возьмите. Вы такая красивая, как эти цветы. И имя у вас красивое.

– Ой, – растерялась рёва. – Спасибо. Только что я мужу скажу? Он придёт, увидит цветы, приревнует ещё.

– Скажете, что я подарила!

Заулыбалась, реветь перестала. И операция хорошо прошла.

В 1962 году работала я в госпитале на правом берегу Невы, и была у меня страшная ночь в отделении, когда за несколько часов умерли сразу три пациента. Часов в одиннадцать – инфаркт, в полночь – профузное кровотечение при раке лёгких.

Особенно вот это кровотечение запомнилось. Я с тех пор долго не могла смотреть на сок чёрной смородины, хотя раньше любила его. Всё вспоминала, как пациент перегнулся через бортик кровати, у него изо рта хлынула чёрная кровь, а через минуту он уже перестал дышать. К часу ночи я уже издёрганная вся, чуть не плачу. Захожу в палату, как в тумане, пациент меня зовёт. Мужчина лет пятидесяти у самого окна.

– Плохо мне, – говорит. – Давление, наверное.

Меряю ему давление. 170/100. Действительно высокое. А тогда при таком диагнозе ещё принято было делать кровопускание. Я команду медсестре:

– Шприц!

Подаёт. Колю, выбираю кровь. Пациенту вроде бы сразу лучше стало. Я ваткой со спиртом место укола протёрла, пошла к выходу. Только до середины палаты добралась – крик! У пациента обширный инсульт. И он на моих руках умирает за считанные минуты. Я в истерике: третья смерть за ночь. Ещё утром пришлось его жене говорить, что он умер.

И даже в такую ночь у меня мысли не мелькнуло, что я не туда пошла, что, может, белый халат мне не по плечу.

Утром на пятиминутке отчитываюсь перед главврачом Шаталовым. Тот меня ругает, я опять чуть не плачу. Особенно за кровотечение достаётся. И тут неожиданно встаёт женщина-фтизиатр и говорит:

– Что вы её отчитываете? Наталья Павловна всё правильно сделала.

Что она могла сделать в такой ситуации?

И Шаталов как-то смолк. Фыркнул мне: «Садитесь!» – и перешёл к другим делам.

В пульмонологии госпиталя инвалидов войны была ещё вот такая история. Лежал у нас пациент Васильев, тощий, страшенький. Я его жалела сильно. Всё внимание ему, сидела над ним ночами, другие пациенты даже обижались:

– Что это вы, Наталья Павловна, всё вокруг Васильева ходите? И звание у него невысокое, и сам он неприметный да некрасивый. Что за секрет?

А какой тут секрет. Жалко мне его было, вот и всё. Гас человек на глазах, как свечка. И не приходил к нему никто, и писем никто не писал. А ещё молчун он какой-то, даже с товарищами по палате не подружился.

Выходила. Поднялся он, по коридору стал ходить. И тоже за мной хвостом. Пациенты пуще прежнего возмущаться стали.

Да что там больные, даже мой будущий муж Олег ревновал меня к Васильеву. Сижу на посту, пациент рядом. Сидит, молчит, костлявой спиной стену подпирает. А я бумажки заполняю.

Мимо Олег идёт. Васильева взглядом прожёт.

– Что, – говорит, – вы, пациент, на посту делаете? А ну марш в палату!

Васильев бочком-бочком от греха подальше. Олег посопел, пуговицу на своём халате подёргал, но сцену устраивать не стал. Пошёл дальше. Я даже по его походке видела, как он злится.

Васильев голову из палаты высовывает:

– Ушёл?

– Ушёл, – говорю.

– Тогда можно я рядом с вами ещё посижу? Я тихонько.

И крадёт на табуретку. Тень, не человек. Пижама больничная на костях, как на пугале болтается.

Как такого не пожалеть?

А тут мне надо было отлучиться по личным делам в Калининград на неделю. Говорю своим, присмотрите за моим Васильевым, кроме того, 23 Февраля на носу, поздравьте уж, подарок принесите.

Девчонки смеются:

– Не оставим мы твоего тощего, уезжай спокойно.

Уехала. Через неделю возвращаюсь – нет Васильева. И девчонки мрачные какие-то.

– Что с ним? Неужели умер?

– Хуже, – ворчат коллеги. – Наркоманом оказался твой Васильев. В ночь на 23-е забрался в кабинет старшей медсестры, разбил шкаф с наркотиками и сбежал через окно, прямо в больничной одежде. Ловят его по городу, но пока не нашли.

Вот полвека прошло уже, а я всё думаю иногда: если бы я тогда в Калининград не уехала, если бы осталась рядом, может, Васильев переборол бы себя, может, справился бы?

Главный врач Шаталов Николай Николаевич очень на меня сердился, что я в Калининград уехала. Подозревал, что я с будущим мужем туда перееду. Так и получилось.

В середине шестидесятых сын Вовка заболел острым диффузным гломерулонефритом. Прививка от кори дала осложнение. Приезжаю из госпиталя, мама говорит, сыну плохо совсем, моча у него жуткая. Позвонили в педиатрическое отделение, увезли Вовку в больницу.

Вовка маленький совсем, меня с ним положили. Лежу на соседней койке в каком-то застиранном халатике. А тут профессор Тур Александр Павлович, преподаватель мой, с группой студентов. Не узнал меня. Подходит к Вовке, осматривает. Это сейчас принято рассушивать с мамашами. А тогда он брови сдвинул, громко так говорит:

– Посмотрите, какой запущенный ребёнок! И аденоиды у него, и тонзиллит, и гломерулонефрит! Где эта мамаша?!

А мне стыдно ужасно. Готова сквозь землю провалиться и под одеяло с головой спрятаться. У врача-педиатра такой больной ребёнок. Сапожник без сапог.

Летом мы из Ленинграда переехали на дачу под Винницу Вовку подлечить. Мама поехала первой, нашла и сняла дом. Потом уж мы с Вовкой и няня его, баба Груня. Ехали на поезде,

везли с собой огромные узлы, одеяла. Керогаз, корзины какие-то. Баба Груня взвалит на плечи целую гору и несёт молча. Ещё и Вовку за руку тащит. А я уж сзади с чемоданом.

Долго ехали, Вовка изнылся весь. Так на следующий год в Игналину поехали. Привезли с собой приёмник «Атмосфера». По этому приёмнику в июле услышали, что умер Маршак.

Сейчас вспоминаю всё это – Игналина, Винница – и с грустью осознаю, что теперь между мной и этими местами граница, что теперь это всё в других государствах.

Вовка рёва был страшный. Если что не по его хотению, станет посреди улицы, рот раскрывает, как крокодил, и давай реветь. Прохожие мимо идут, оборачиваются. Мне стыдно, я его утешаю. Да куда там. Ревёт себе, пока не надоест.

Под Винницей жили в деревне Селищи. Вокруг красота, дубовые леса, грибы белые. Тепло, солнышко светит, не то что в Ленинграде. Идём на базар, хорошо. А Вовка встанет, руку выдернет и ревет. Бабки украинские мимо идут, крестятся. А мы с Груней стоим как дуры, ждём, пока он проревётся.

Мы с мамой как приехали – сразу в книжный магазин кинулись. Тогда книг хороших было не достать. Особенно в Москве, в Ленинграде. Мигом разбирали. А в провинции можно было наткнуться на что-то редкое. Так обратно ехали, волокли с собой узлы, керогаз, чемоданы и десяток новых книг. Целое сокровище.

Вовка болел тяжело. Несколько раз были у него обострения. Ну и осталось всё в карточках, записей целая кипа. Уже 15 лет сыну стукнуло, надо смотреть, что получилось, не осталось ли последствий. В Первом медицинском работал Рябов, он делал биопсию почки. Сказали подойти к нему. Прихожу.

Рябов глянул на Вовку, на его анализы.

– Надо! – говорит. – Сыну вашему пятнадцать, скоро в армию. Если там недуг его обострится, то могут и не спасти. Мало ли где служить придётся, может, в Средней Азии или на Чукотке. Медицина там, сами понимаете.

А я боюсь страшно. Тогда методика биопсии ещё неопробованная была. Осложнения всякие, опасно.

– Не дам, – говорю. – Он поступит в институт и в армию не пойдёт. Так и получилось. Поступил.

В Минск мы переехали по семейным обстоятельствам. Я в шестой больнице работала, бронхоскопию делала. Доктор из областного тубдиспансера Дегтярёв Владимир Михайлович уезжал в Израиль, так подарил мне все свои записи. Такая была радость. Тащила домой папки, тяжести не чувствовала. Настоящий клад, многолетний опыт врача.

Тридцать пять лет в Минске живу. В прошлом году приезжала в Ленинград, подошла к своему дому Бенуа, посмотрела на колонны. Хотел зайти, по ступенькам попрыгать, но не стала. Не к кому, да и незачем.

Наталья Павловна вздыхает.

– Записали?

– Записал, – отвечаю.

– Есть что-то интересное в моей жизни? – улыбается.

Восемьдесят один год этой женщине, только в прошлом году ушла она на пенсию. Язык не поворачивается назвать её бабушкой. Это дама, настоящая ленинградская дама, цитирующая на память Блока и Есенина. Я по сравнению с ней троглодит необразованный.

– Буду рада, если у вас что-то получится.

Выхожу в жаркий летний день XXI века. Минск, на проспекте шумят машины. У меня перед глазами грязные сугробы, колонны дома Бенуа в инее, маленькая девочка в заснеженном ленинградском дворе и жёлтые сосульки на карнизах.

Папа

Маргарита и Алевтина Сомины (11 и 6 лет, город Оренбург)

Это был обычный летний день. С утра начал накрапывать мелкий дождик, и мама не отпустила нас гулять. Ритка уселась рисовать, а мне было скучно, я слонялась по дому и путалась у всех под ногами. Полистала книжку – сто раз уже видела. Попробовала устроить куклам праздничный обед – тоже надоело, без Ритки не игралось. Посидела на подоконнике, посмотрела, как мокнет под дождём наша улица. Потянулась на кухню, к родителям. Папа точил ножи, мама затеяла пельмени, намесила теста и раскатывала его скалкой по столу. Облачка белой невесомой муки так и взлетали вверх, пачкали мамин фартук. Родители тихонько переговаривались, обсуждали какие-то свои проблемы, кому-то надо было помочь с дачей, кто-то из соседских мальчишек опять попал мячом в окно, надо было полить цветы в палисаднике. Я устроилась на табуретке, наблюдая за ловкими маминими руками, за тем, как словно по волшебству на столе вырастают стройные ряды пельменей. Чуть слышно бормотало радио, играла какая-то музыка. Это был обычный летний день. 22 июня 1941 года.

Когда по радио зазвучал голос Левитана, папа отложил нож, у мамы затряслись руки, она выронила скалку, с ужасом посмотрела на деревянный ящичек приёмника. Прибежала Ритка, мама как-то судорожно обняла её, прижала к себе.

Я не понимала, что происходит. Ну, война и война. Телевизора и интернета тогда не было, война представлялась чем-то вроде игры в деревянных солдатиков, или как мальчишки с криками носятся по улице. Никто не знал, что это всерьёз и надолго.

Папа вскочил, хотел сразу куда-то идти, но мама непустила его. Спокойно сказала: – Подожди. Поешь сначала по-человечески. Я что, зря пельмени развела? Успеешь.

Папа очень любил мамины пельмени, поэтому сел на место и за ножи опять взялся. Ему нужно было чем-то занять руки.

Мама сняла с плиты пельмени. Горячие, вкусные. Это был наш последний обед. Последний раз на много лет мы сидели вместе за столом и ели досыта. Я ещё иковырялась вилкой в тарелке, выбирала. Если бы я тогда знала, что буду вспоминать о тех пельменях, когда придётся искать паслён и есть его, чтоб только не урчал живот.

Вечером папа собрался и ушёл. Все мужчины собирались в центре города, на площади. Не было ни повесток, ни военкомата. Все шли сами. С чемоданами, рюкзаками, узлами. С кем-то шли плачущие жёны и дети. Мы с мамой не пошли. Мама сказала, что папе и так тяжело будет.

На несколько недель папу и всех мужчин с нашей улицы отправили на обучение в село Петровское, что под Саракташом. От него приходили письма, мы читали и перечитывали их вместе, вечером при свете лампы. Через неделю мама велела Маргарите собираться и ехать к папе, отвезти домашней еды. Это сейчас страшно ребёнка и во двор выпустить. А тогда было просто. Маргарите 11 лет, значит, взрослая, значит, сама разберётся. Маргарита дошла до вокзала, отыскала нужный поезд, уже там, на станции назначения нашла какую-то телегу, которая довезла её до места учений. И у мамы даже мысли не было, что по дороге её кто-то обидит. Тогда было больше хороших людей, они были как-то добрее, что ли.

Сестра вернулась в целости тем же вечером. Рассказала, как папа по нас скучает. Я ещё, помню, расстроилась, что мама не отпустила меня с сестрой.

Ещё помню день, когда папу отправляли на фронт. Через какого-то знакомого он передал нам весточку. Мама бросила все дела, быстро одела нас, и мы втроём пошли его провожать. По дороге мама нам говорила, что, если даже увидим папу, не кричали ему, чтоб ему не было стыдно перед товарищами, чтоб он не расстроился перед отправкой.

На станции собралось много солдат, они шли колонна за колонной, все какие-то одинаковые. Я всё пыталась увидеть своего папу, ведь я его две недели не видела, соскучилась очень.

И вдруг мелькнуло его лицо, я закричала: «Папа!» Бросилась к нему, вырываясь из маминых рук, мигом забыла все мамины наставления. Ну и пусть мама потом будет меня ругать. Ну и пусть смеются товарищи отца. Пробилась к нему через всю колонну. Солдаты сбивались с шага, стараясь на меня не наступить. Папа обрадовался, взял меня на руки, всю дорогу до поезда нёс меня, не выпуская. И ни один командир ему тогда не сделал замечания, ведь все понимали, что, возможно, он обнимает меня в последний раз.

Папа уехал. Мы с Маргаритой ревели и махали руками вслед поезду. Мама тоже плакала, но старалась спрятать от нас лицо. Все были уверены, что это ненадолго. Месяц, два, может, три, а там наша сильная армия разобьёт немцев, прогонит с нашей земли. И папа вернётся.

Потянулись месяцы тяжёлые и страшные. Письма от папы приходили редко, мы радовались каждой весточке, каждому конверту. Тогда все бросались навстречу почтальонам. Почтальонов ещё не боялись. Первые похоронки пришли немного позже.

Цензура в армии была строгая. Солдатам запрещали писать, где они воюют, куда отправляется часть. Поэтому однажды мы получили письмо, которое не сразу смогли понять. Из-за переездов оно, к сожалению, потерялось, но то, что нам было долго непонятно, выглядело примерно так: «Дорогая моя Манюня (папа всегда так называл маму), очень по вас скучаю. Передай, пожалуйста, привет от меня всей нашей родне Степану Тимофеевичу, Анне Леонидовне, Инне Николаевне, Георгию Романовичу, а также дорогой Анастасии Дмитриевне». Когда мама прочла это письмо, мы все были в недоумении, я даже решила, что он там с ума сошёл, ведь у нас не было даже среди знакомых никого с такими именами. Мама много раз перечитывала это письмо и вдруг начала плакать, она поняла, КУДА отправили папу. А он нашёл способ ей об этом сказать, я думаю, что он тогда хотел с ней попрощаться.

Начались перебои с продуктами. Наши порции стали совсем маленькими, и хотя мама старалась отдавать нам последнее, есть хотелось всё время, животы урчали. Тогда-то я вспомнила мамины пельмени.

Совсем впроголодь, конечно, не жили. В нашей комнате стоял старинный комод царских времён, так мама отнесла его в местный театр, продала и на вырученные деньги купила козу. У нас было молоко, сметана. Кормить козу приходилось нам с Риткой. Весь день мы бегали по улице, рвали траву и собирали её в мешки. Траву сушили на дворе, получалось сено. Этим сеном был забит весь чердак и чулан.

Мама вычёсывала козу, из её пуха делала пряжу и вязала платки. Те самые настоящие оренбургские платки. Эти платки были очень тёплыми, их у мамы тут же расхватывали. А на вырученные деньги можно было купить немного муки.

От райисполкома нам выделили участок земли, где можно было выращивать овощи. Но участок этот был за городом, чтоб добраться до него, приходилось идти километров пятнадцать, а то и больше. Вот и представьте, как это, протопать такое расстояние, целый день работать, а потом ведь ещё нужно обратно добираться. И всё пешком.

Зато осенью добыли тачку и притащили наш первый урожай. Тащили целую гору огромных тыкв, и эти тыквы всю зиму хранились у меня под кроватью. Я до сих пор помню пыльные жёлтые шары, их запах и миллион блюд, которые мама готовила из тыкв. Мы ели тыквы на завтрак, обед и ужин. Мы смотреть не могли на эти тыквы, но другого ничего не было. Как ни удивительно, я тыквы до сих пор люблю. А Ритка с мамой после войны договорились больше никогда тыквы не готовить.

На улице Астраханской у нас был дом с двумя комнатами. До войны в одной спали родители, а во второй – мы с сестрой. Но с первых дней войны в Оренбург потянулись беженцы. Они приезжали на поездах, на каких-то пыльных грузовиках, тянулись длинными тоскливыми колоннами с вокзала. Их нужно было куда-то девать, и беженцев распределили по домам.

Поэтому мы перебрались в одну комнату, а вторую отдали беженцам. Разные были люди, у каждого своя история, своё горе. Больше всего мне почему-то запомнились два весёлых парня из Ленинграда. Они очень радовались, что их успели эвакуировать. Один любил по вечерам играть на гармошке, а второй был молчун, каких мало. Они на память нам оставили мешочек с лото. Представьте, люди идут, тащат на себе то, что сумели схватить из дома. Кто одежду, кто ценности. А у этих – лото и гармошка. До сих пор у нас лежит этот мешочек с лото. Раньше мы с детьми в него играли, теперь с внуками.

Мой отец Сомин Сергей Григорьевич выжил в кошмарном аду под названием Сталинград, в 1945-м дошёл до Берлина и вернулся домой.

Моя мама Сомина Мария Васильевна ждала его, вздрагивая, когда мимо калитки проходил почтальон, и пряча голову под подушкой, когда голосили соседи, получившие похоронку.

Мы пойдём до Берлина!

(Александра Гольшиева, 16 лет, деревня Семёновское Калужской области)

Вечерами Шурка сидит на печке. Ещё с тех времён, когда в деревне были немцы, так повелось. Лишний раз не попадаться на глаза, спрятаться, укрыться. А то бывало всякое.

Да и холодно на улице. Октябрь месяц. Дождь колотит в крышу, а ветер калиновой веткой – в стекло деревянной избы. Мать Прасковья что-то шьёт. Керосин давно кончился, отец нащипал лучины, и мать шутит, что при немцах живут, как при царе – по домам и с лучиной.

Отец Андрей Ефимович рядом с матерью. Просто сидит на лавке, опустив на колени натруженные мозолистые руки. То ли дремлет, то ли думает о чём-то своём. Молчат. Говорить не о чем.

Шурка под драным полушубком чувствует боком, как остывают кирпичи печки. Дров осталось мало, их надо поберечь до зимы, вот и топят едва-едва, лишь бы только хата не выстыла. Шурке и зябко, и тоскливо. И почему-то вспоминается первый день, когда пришли немцы.

Тогда в деревню с рёвом вкатили мотоциклы, солдаты разбойничьей шайкой рассыпались по домам. Сразу же послышались крики и выстрелы, немцы отстреливали кур во дворах. Шурка видела, как два мотоциклиста уводили корову у их соседки, а та, растрёпанная, без платка бежала следом за молодыми мордатými парнями в серой форме и кричала, повторяя только одно:

– Мы ж старики, мы ж старики!

У родителей Шурки коровы не было, была коза, которую тоже увели. Курами набили мешки, а когда некуда было уже заталкивать окровавленные тельца в белых перьях, стали просто упражняться в стрельбе по мечущейся птице.

В хату зашёл толстый немец в блестящих сапогах. Ткнул отца стволом автомата:

– Партизан?

Партизан в округе ещё не было, но их уже боялись. Немец прошёлся по хате, по-хозяйски засовывая в карманы, что приглянулось. Наткнулся в чулане на кадку с солёными белыми грибами. В тот год летом на грибы был урожай, они росли чуть не на огороде, солили их бочками. Немец вытащил нож, поднял крышку кадки, подцепил один из грибов. Сморщился, выплюнул обратно в кадку. Мать потом хотела выбросить эти грибы, отец не дал. Он как знал, что грибы эти им придётся есть всю зиму, растягивая по кусочку, по половинке, лишь бы только дотянуть до первой лебеды. В тот раз немцы пограбили и уехали. Соседка с плачем ползала по дороге.

Ночью в сентябре из дождливого ненастья шагнул в избу рослый рыжий финн, увидел на Шурке валенки, рванулся к ней, стал стаскивать с ног. Шурка сдуру упёрлась, закричала: «Не отдам!» Финн выхватил нож, стал размахивать им перед носом у девушки. Отец застонал:

«Отдай, Шурка, отдай!», но в девчонку словно бес вселился. Финн уже уходил с добычей, она подскочила к нему, выхватила валенки из рук, прижала к груди. Кто знал бы, чем кончилось бы, но тут в хату на крики вошёл немецкий унтер, брезгливо что-то сказал финну. Тот рявкнул в ответ, спрятал нож за пояс, и вместе они вышли обратно в дождь.

Всю ночь Шурка проплакала в обнимку с родителями.

Вспомнился ей и воздушный бой над деревней, когда сбили наш истребитель, и он упал за деревней в низину, где все время было сыро и росли крупные опята. Люди побежали к месту падения, надеясь найти летчика, но он был уже неживой. И уже много лет после войны подруга Шурки расскажет ей, что они вынули документы из комбинезона, и там было его имя – Григорий Посеченко или примерно так. Похоронили его еще до немцев за деревней, недалеко от места падения.

В стук осенней непогоды неожиданно послышался ей посторонний звук, шедший с заднего двора. Приподнявшись и прислушавшись, Шурка вновь услышала этот стук, показавшийся ей немного громче. «Папа, послушай», – обратилась она к отцу, указывая на дверь. Теперь и Андрей Ефимович услышал стук. Шаркая подошвами старых ботинок, он подошел к задней двери чулана и вполголоса спросил: «Кто там?»

Из-за двери русский голос спросил: «Хозяин, немцы есть в деревне?» А немцев-то как раз и нет. Всего пару дней как съехали. Квартировали почти месяц, обожрали всех, обобрали до нитки и уехали.

– Нет немцев, – ответил Андрей Ефимович.

– Тогда откройте, свои, – донеслось с заднего двора.

Шуркин отец осторожно открыл засов, выглянул. Потом отодвинулся, впуская неожиданных гостей внутрь.

– Откуда? – глухо спросил он.

– Из-под Вязьмы.

Опять из-под Вязьмы. Уже не раз вот так осторожно стучали к ним ночные посетители, замёрзшие и голодные, пробирающиеся на восток. И все из-под Вязьмы, где в страшном котле погибли армии, защищавшие Москву. Родители делились с ними, чем было, согревали их, прятали от немцев.

Вошли семеро. Шесть солдат и командир в кожаной портупее с пистолетом на правом боку. Он один был в сапогах, остальные – в обмотках. Мать достала из печи чугунок с ещё тёплой картошкой, Шурка принесла из чулана грибов. Хлеба, конечно, не было, мать пекла лепёшки, смешивая муку с водой. Но солдаты вцепились в эти неказистые лепёшки, как будто это были самые лучшие пироги.

Стол вынесли на середину избы, поставили рядом лавки. Бойцы ели торопливо, жадно, как едят давно изголодавшиеся люди. Молчали.

В этом молчании чувствовалась неловкость от того, вот так вот всё получилось, что вместо победы идут они по своей земле крадучись, как воры, и оставляют своих же русских людей на произвол немцам, и ничего с этим нельзя сейчас поделать.

Чтобы как-то снять неловкость, Андрей Ефимович спросил:

– Как дальше-то будет, что ждать?

И тут командир неожиданно сказал громко:

– Ничего, отец, мы пойдём до Берлина!

– Э, сынок, далеко шагать... – только и смог проговорить от неожиданности Шуркин отец.

– Ничего, мы дойдём!

Поразительное дело! Это сейчас мы знаем итоги Второй мировой войны, а что было тогда?

Под Вязьмой окружены и фактически разгромлены три (три!) армии, немцы спокойно дошли до столицы, слухи один тревожней другого, выходящие из окружения бойцы только усиливают панические настроения, и тут вдруг – «Мы пойдём до Берлина!». Это октябрь месяц, 1941 год, генеральное наступление на Москву, паника в городе, эвакуация правительства в Куйбышев, минирование заводов и метро – и тут же – «Мы пойдём до Берлина!».

Какова судьба этого русского командира и его солдат, Шурка так никогда и не узнала. Но верится, что хоть кто-то из них дошел до Берлина и, расписываясь на поверженном Рейхстаге, вспомнил холодный октябрьский вечер в небольшой русской деревеньке недалеко от Юхнова.

А ещё в тот осенний вечер не могла она знать, что к февралю загрохочет на востоке наша артиллерия, и при звуках разрывов снарядов команда поджигателей, посланная спалить деревню, побежит без оглядки, успев поджечь только крайний дом и побив стёкла у соседей.

И не могла она знать и о том, что отца мобилизуют летом 1942 года, и он прошагает не до Берлина, правда, а до Кенигсберга, и что сам Рокоссовский будет объявлять ему благодарность.

И уже под утро, проводив солдат в плену сумрачного рассвета, засыпая, Шурка будет вспоминать эту удивительную фразу, сказанную русским офицером: «Мы пойдём до Берлина!»

Миша Францев

Миша (Михаил Францев, 8 лет, деревня Ситно Новгородского района)

Наш дом стоял на берегу Волхова. Едва весной сходил лёд, мы с братом уже лезли в воду. Закатывали штанины и заходили по колено. Ноги тут же немели, но было приятно думать, что скоро лето и можно будет купаться. Мать ругалась потом, говорила, что заболеем. А мы не болели. Крепкие были. Это потом, после войны, когда есть было нечего, простужались постоянно. А до войны постоянно по улице бегали. Сил было много.

Про войну слышали по радио. Отец ещё за год до этого гордо принёс в хату чёрную тарелку и поставил на стол. Мы слушали музыку, новости, речи Сталина. Соседи тоже заходили к нам в хату послушать. Тогда запросто было. Двери никогда не закрывали.

Отца призвали через неделю после начала войны. Мать плакала по ночам в подушку, ходила с бледным лицом и опухшими глазами. Но при нас с братом улыбалась, говорила, что всё будет хорошо.

Было очень страшно. По деревне среди детей ходили байки, что немцы едят людей, что у них рога, что огнём плюются. Сейчас смешно всё это вспоминать, а тогда верили и боялись. А может, и правда всё было? Они такое творили, что лучше бы ели. И огнём... Огнём поджигал хату в считанные секунды. Разве что с рогами не угадали.

Фронт подкатился так быстро, что мы даже уйти не успели. Вечером грохотало за горизонтом. Мать тревожно поглядывала на вспышки в небе. Открыла подвал. Подвал у нас был знатный, каменный. Разделён был на две половины каменной же перегородкой. С одной стороны мы хранили картошку, в другой было хозяйство отца – всякие инструменты, железки, маслёнки. Он всем пацанам в округе мастерил змеев, мог велосипед починить, в радио разобрался.

Тепло было. Мы играли возле дома с братом и тётей. Тётя у меня была немногим старше нас, ей лет тринадцать тогда стукнуло. Слышим: грохнуло что-то. И тотчас же рядом с углом дома земля поднялась, комья полетели. Мы оглохли. Бросились в сторону. И на том месте, где мы только что стояли, новый взрыв. Мы бежать. Опять взрыв, прямо на пятки наступает, меня даже в спину комком земли ударило. В деревне уже орут. Непонятно, то ли бежать, то ли прятаться. Мать из дома выбежала, нас в охапку – и в подвал. Сидим в картошке, а над головами грохочет.

Ударило так, что брёвна рассыпались. Хата застонала, как живая. Пол над нашими головами вздыбился. Ещё один снаряд пробил крышу и упал в той части, где отцовы инструменты были. Взорвался, и нас засыпало с головой. Дальше я не помню. Когда обстрел прекратился, прибежали соседи, нас вытащили. Каким-то чудом все живы остались. Всю войну в сарайчике жили, где раньше куры сидели.

Я потом уже узнал, что это было. Немецкие артиллеристы пристреливались. Видели же, гады, в свои бинокли, что возле дома дети играют. И всё равно пристреливались через Волхов. Выбрали нашу хату как ориентир. Они тогда на Новгород пёрли.

Про немцев рассказать? А что рассказывать! Ходили по деревне наглые, мордатые. Что увидит – себе тащит. Курица – курицу, молоко увидит – молоко заберёт. Вещь какая приглянётся – тоже себе. Мы по малолетству тогда мало понимали, но мама прятала тётю, боялась за неё. Нам повезло, они в нашей деревне не жили, так, поразбойничать приходили. Там, где они квартировали, конечно, хуже пришлось.

Ещё помню, всё время кушать хотелось. Мать похудела так, что её ветром качало. Посадили картошку, а немцы пришли и забрали половину. Вы её сажали?! Вы видите, что в доме дети и шаром покати?! Да разве ж им дело.

Уже когда немцы район заняли, брат принёс домой запал от бомбы. Ну, или другую какую часть, я не разбираюсь. Этого добра по нашим лесам тогда много валялось. Говорит, давай порох добудем. Мы были глупые, не знали, что никакого пороха там нет. Сейчас думаю: зачем мне тот порох был? Что я с ним собирался делать?

Начал железку ковырять. Она у меня в руке и взорвалась. Больно было очень. Пальцы веером в стороны. Мать прибежала, какими-то тряпками замотала, сосед коня запряг – и на телеге меня в соседнюю деревню. Там что-то вроде немецкого госпиталя было. А куда ещё было меня везти? Других врачей в округе нет. Мать пальцы в тряпицу собрала, думала, пришьют.

Приехали. Большой дом, в котором раньше то ли правление было, то ли клуб. На полу солома, а на соломе раненые немцы. Человек пятнадцать – двадцать. Весь пол занят, ступить некуда. Мать – к врачу. Он посмотрел на меня, на мою руку, молча достал бинты, растворы какие-то и начал руку обрабатывать.

Тут зашли три офицера. Увидели, что он делает, сдёрнули меня с табуретки. В рану тычут.

– Партизан! Партизан!

А врач, наверно, был старше званием. Потому что не испугался, начал на них в ответ орать, чуть ли не пинками из госпиталя гнать. Кричит:

– Киндер! Киндер!

Выгнал их. Рану забинтовал и лекарств каких-то дал. Пальцы перебрал, головой покачал, мол, поздно. Так и живу теперь с одним пальцем на правой руке. Привык.

Воспоминания бабушек Богданы Потехиной

(город Орёл, Россия)

Я заметил, что две опрошенные мной бабушки начинали свой рассказ со слов о родителях. Дату призыва, их имена – и постоянно «мама, мама, мамочка». Их мир, тогда еще маленький совсем, был не такой страшный, как у взрослых. И не потому что детская жизнь была проще. Нет. Это как в стихотворении Роберта Рождественского: «Ожиданье новостей страшных и громадных... Там у вас, в стране детей, жизнь идет нормально! Там – ни слова про войну. Там о ней – ни слуха. Я хочу в твою страну, человек-два-уха!» Но мама! Мама – это всё для них было. И выжили эти две конкретные девочки только благодаря мамам. В этом нет сомнений.

В тылу

Марфуша Татаринцева, (8 лет на начало войны, деревня Левашовка Аннинского района Воронежской области)

(От автора: сохранена речь Марфы Никаноровны.)

Мамка моя, Наталья Павловна, родила брата Серёжку в сентябре 1941-го, вот отца сразу и не призвали. Тогда говорили, что отсрочка по брони у него. Но в марте 1942 года ушел всё-таки.

Отец мой был очень верующий, даже в колхоз наотрез отказывался вступать. Да и вообще советскую власть не жаловал. Поэтому земли у нас не было. Маленький огородик перед домом, да и все. Работал папа Никанор на железной дороге, это нас и спасло, потому что на восемь душ оставшихся (мамочка и нас у неё семеро) выдавали 16 кг хлеба или крупы. Лучше б всё время крупу давали, её сохранить проще. А хлеб мы хоть и в сундук прятали, всё равно быстро портился. Да и больше его надо. Две недели ешь – после лапу сосёшь. По правде сказать, хлеб очень редко давали. Пару раз за все войну я его и видела.

Наша деревня была в тылу. Через Воронеж тогда проходила линия фронта. Правобережная часть города была у немцев, левая часть – у нас. В Левашовке постоянно командировались солдаты. Распределяли их в зависимости от величины хаты. У нас практически всегда жило по семь человек. Их тоже кормить надо. Припасов с собой у солдат нет. Эта наша обязанность была, да и в мыслях не было им что-то по поводу еды предъявить. Наши ж солдаты, нас защищают.

Как-то справлялись. Мамочка получит паёк с железной дороги, тётки с дядьми мал-мала передавали ещё что-то, не бросали нас. Всё что дадут, строго прячем. Люди разные же жили. Ещё мы собирали в логу траву: дикие чеснок и щавель, сергибус, иногда свинухи попадались. В лес не пускали никого. Какой лес? Вот он, фронт, рядом! Колхоз иногда на военных немного выделял еды: картошку, бурак (свёклу), капусту. Всё это резали в большие чаны по 12 вёдер. И тушили. Каждое утро сначала солдаты завтракали, а потом уж мы садились.

У нас даже корова была. Как же мы её берегли! В день давала 8 литров молока почти. Нас мамка выстроит с утра и каждому по стакану парного. Остальное военным. Никуда не денешься. Или на обмен прятала. Кроме ж еды ещё много чего надо. Есть хотелось постоянно. Я ночью с подружкой постарше иногда ходила к скирдам колхозным, чтобы зерно молотить. Из него мамалыгу потом делали себе и солдатам. Вот один раз собрались, а надо сторожу что-то дать. Молотить нам долго, да и слышно ж за версту. Так у подружки моей отец ещё до войны был на службе. Мы в его вещах порылись и нашли нижнее бельё солдатское. Это бельё мы сторожу и отнесли, чтоб нас к скирдам пропустил. Как же он радовался, говорит: «Мои ж вы хорошие, только не попадитесь, а то посадят и меня, и вас». Тогда даже за горсть зерна три года давали. Либо в тюрьму сядешь, либо на работу отправят.

Как вспомню, как мы волокли зерно это домой... Я ж маленькая еще, а мешок тяжеленный, вот и прошу подружку помочь мне. Она мне мешок на спину взвалит, и плетёшься с ним кое-как. Если под горку, тогда проще, волоком тащить можно, а через речку по броду – самое страшное. Там месяц от воды отражается, и мы как на ладони. Один раз слышим крики:

«Держи их! Вон тащат!» Мы бежать из последних сил, а мешки не бросаем. Как без еды домой возвращаться? Убежали... Видно, пугали нас просто.

Когда холода наступили, стало тяжелее. В лес же нельзя ходить было. Вот и дров не было. Мамке сразу было ясно, что печь топить нечем будет. Да и не только ей, все об этом знали. Вот что придумали: кизяки делали. Берёшь таз, плотно-плотно набиваешь в него навоз и сушишь. Этим и топили печки.

Зимой 43-го у Воронежа тогда бои шли за освобождение. Я помню, как у нас дома жили лыжники. Опять семь человек. Маскхалаты у них белые-белые были, нам их даже примерить давали. Я один чуть не заиграла, всё крутилась по дому в нём, невестой себя представляла. Лыжами тоже разрешали поиграть, сами нам их и завязывали. В том же логу, где летом травы собирали, катались. Весело было, хохотали так, что в сугробы падали. Темнеет зимой рано. Взрослые очень авиаудара боялись, бомбили тогда. Воронеж вообще страшно, да и у нас в Анне (5 км от Левашовки) маслозавод подорвали. У нас давно уже все окна были заклеены, чтоб ни щёлочки света не видать. А всё равно... Дети ж. Заиграемся и не замечаем, как солнышко садится. Мамке за нами смотреть постоянно невозможно, вот и загоняли нас домой солдаты. Вы зайдите, быстренько, говорят.

Они все, помню, мамочке письма для родных оставляли, чтоб отсылала. Мы их отправляли всегда. Один раз у нас, наверное, разведчики стояли. Много... Полным деревня была... Вот они на Бобров выдвинулись, это в сторону Верхотойды. В Красном Логу их всех и положили. С воздуха, конечно, прям цепочками солдаты лежали. Мамка тогда молчала долго, а после пошла и письма отправила, хоть мороз жуткий стоял. С военными тоже по-разному было. Помню, как один офицер к соседке всё ходил, приставал. Красивая девка была. Так она его отправляла всегда, говорит: «Пошел! Это для них ты офицер, а для меня ты...» – и матом на него как гаркнет.

А у соседей в доме был медпункт. Хозяин дома был дед Тимофей. Так он стекла напился, чтоб в армию не попасть. Перетолок стекло, значит, через марлю пропустил всё, с водой смешал и пил. После того он ослаб сильно. Инвалидом, можно сказать, стал. Дружкам своим тоже предлагал. Один было начал, но бросил. Я это пить не буду, говорит, лучше на войне помереть.

Так в этом медпункте медсестра была, очень её один военный доставал. Днём ещё ничего, она с больными возится, а как вечер, так никуда не деться ей. Вот дед Тимофей ей и сказал на печке вместе с бабкой спать, чтоб не мучил её тот мужик. Она и спала.

У нас в деревни недалеко от теперешнего кладбища пленных мадяров (венгров) держали. Ненавидели их страшно. Они ж зверствовали жутко, когда Воронеж взяли. Нам рассказывали, что даже целое шествие было, а на штыках они детей маленьких волокли. Уж не знаю, правда ли. Но то, что от Воронежа камня на камне не оставили и людей поубивали кучу невинных, – это видела сама. «Города-героя» Воронежу и не дали, потому что приказ был пленных не брать. Но это потом было, а пока мадяры у нас в Левашовке стояли, держали их в холодных сараях. Нам самим особо есть нечего было, а их и подавно кое-как кормили. Брать им ничего нельзя было, сразу по рукам били. Издевались, конечно. Слишком много боли фашисты причинили.

Хорошо помню, как их на работы везли. Туда, значит, они пешком идут, а обратно уже некоторых на машине мертвых везут. От голода и холода умирали по большей части. Хоронили их голыми рядышком с нашим кладбищем. Вот когда тепло было, они пока могилки копают, лягушек ловят. Прямо сразу обдерут тушки и в котелок. Потом пленных увели всех. Бог его знает куда... Мы уже и не спрашивали, куда свои идут, а про врагов тем более неинтересно.

Отец нам один раз за войну посылку прислал трофейную. Небольшую совсем, людям вон присылали тяжеленные. Помню, для меня там был то ли немецкий, то ли польский шёлковый платок, зелёный с махрами. Красивущий... Письмо в посылке, само собой. Мама нам читала сначала сама, а потом мы сами перечитывали каждый. Пишет: «Люди берут всё, а я боюсь. Да в этот раз взял, а не надо было. Вдруг хозяева вернутся». Мне так накрепко эти слова в голову засели, что платок этот я мало носила, разорвала потихоньку. Не моё это, а чужого и не надо. Папа хороший был человек... Матом не ругался. И в каждом письме наказывал мамке: «Наташа, береги детей!» Она и сберегла всех семерых. Нам извещение пришло сначала, что он без вести пропал. Но тогда, часто так было, потом, бывало, люди находились.

А через некоторое время на сестру Дашку письмо пришло. Ну, пришло и пришло... Мало ли... Ждём, когда Дашка придёт и откроет. Она домой зашла, письмо взяла, прочитала, села и заплакала. У нас, говорит, отца больше нет.

Это ей письмо пришло от однополчан отцовых. Он на полевой кухне работал и иногда развозил еду. Вот на мину и наехал... Поэтому и посчитали, что без вести пропал, искать и хоронить нечего же. В Чехословакии дело было, 20 апреля 1945-го. Горе страшное.

Что касается учёбы, то в войну я училась. До 4-ых классов. У нас в Левашовке только начальная школа была. Жалко бросать было, мне нравилась школа, я на четвёрки училась. Обувка у нас с братом Филиппом была на двоих, размер-то один. И ничего, что он на три года старше меня. Вечно опаздывала из-за него в класс, поздно приходил. Меня учитель ругал, а я и сказала, что, мол, это Филипп поздно мне обувь отдаёт. Учитель: «Как поздно? Филипп в 12 заканчивает, ты к часу успевать должна». Так и вычислили, что брат курить под мосты бегаёт после школы, вот и приходит домой поздно. Влетело ему, конечно, по первое число. Ох и ругался он на меня.

– Это ты доказала! – кричал.

– Да! Я! Я из-за твоего курева опаздываю, – говорю.

А средняя школа уже в Николаевке, а это 7 км от нас. Пока тепло было, я ходила туда, а потом, как холодно стало, босой особо не побегаешь.

Смотрю на школьную фотокарточку... Вот они все, одноклассники мои: Ванёк-пенёк, Володя Мошкин (его Бурей звали. Заигрались раз, чуть не удушил меня за платок, потом целую неделю в углу простоял), Колька-кошелёк, Гришка-дурачок, Володька-кипяток. Много нас было.

Сейчас я одна осталась. А учил нас Рыбалкин Александр Тихонович. У них большая каменная изба была в деревне, в войну мёрзли они в этой избе хлеще, чем мы. Болел Александр Тихонович долго, и аккуратно на 9 мая умер. Мы его хоронили... Светлый человек был...

А потом хоронили Ивана. Жил такой мужик дальше по улице. Всю войну днём на чердаке прятался, чтоб не призвали, а как стемнеет, выходил. Да вот войну все-таки не пережил.

О маме Клавдии

Валя Ампилогова (на начало войны 8 месяцев, город Орёл)

Маму в этом мире мало что могло сломить. Характер был из стали. Она ведь в большой семье родилась, шестеро детей их было. Ещё из детдома взяли Танюшку, её воспитывали, как свою. Тогда даже говорили не детдомовская, а заведенская. Так вышло, что бабушка умерла от возвратного тифа, когда моя мама совсем крошкой была. Она с братом Николаем младшие были, ей пять лет, а Коле три года. Когда похороны были, одна соседка даже сказала: «И этих двоих сверху бы положить надо, не выживут одно».

После она остеомиелитом заболела, но чудом её выходили. Когда маме 15 лет было, её себе в прислуги одна еврейка забрала в Москву. Она достаточно долго там работала, та хозяйка её многому научила: готовить, шить, вязать. Правда, один раз еврейка часы золотые потеряла и подумала, что это мама их украла. Вызвала милицию, маму забрали в участок. А утром хозяйка те часы нашла, маму из участка забрали. Только она напраслины не простила, в жизни ничего чужого не брала. Развернулась и уехала поближе к дому, в Орёл. Там вечернюю школу закончила и курсы на парикмахера, там же хорошего человека встретила, Ивана, отца моего, и замуж вышла.

На второй день после объявления войны призвали Ивана. Уходя, он так маме и сказал: – Клава, езжайте к моей матери в Поньри (деревенька в Курской области). В городе голод будет, помрёте. А там вам пропасть не дадут. Там земля прокормит.

Надо ехать, значит поедем. 23 июня папа на фронт пошел, а мама со мной под Курск. А 25 июня Орёл уже немцы бомбили.

Мама парикмахером работала, мужским мастером. Тогда же как... Бритвы только «опасные» были, поэтому стриглись и брились в парикмахерских. Начало войны, мужчин в деревни хватало ещё, так что работу мама без проблем нашла. Расплачивались по большей части едой, к чему тогда деньги-то. Что на них купишь? Так что мама скоро собрала макарон (тогда еще красивых, беленьких, твёрдых. Это после они стали серыми и рыхлыми), муки, круп каких-то... Похоронка пришла в ноябре, а погиб папа в сентябре. Пару месяцев только и повоевал. Но горевать было некогда, навалилась зима, в 1941-м она была снежной и лютой. Свекровь, недолго думая, мамочке моей сказала:

– Езжай-ка ты в Орёл. Лишний рот мне тут не нужен. Сын погиб, а ты мне никто. Валю вон оставь. Внучка всё-таки.

Деваться некуда. Пришлось уезжать, и меня пришлось оставить, ведь с грудным ребёнком на руках она бы до дома не дошла. В Орле неизвестно что: немцы то ли на подступах, то ли хозяйничают уже. Но до города она добралась и зиму пережила. Опять профессия прокормила. Всё думала обо мне, но разве до Поньрей теперь доберёшься. Кругом немцы, в лесах партизаны. Хотя весточки всё-таки приходили. Основной пункт сбора информации где? На рынке, конечно. Вот по весне на этом самом рынке мама знакомую с малой родины мужа встретила. А та смотрит на неё недоумённо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.